

ISSN 0130-3600

01303600

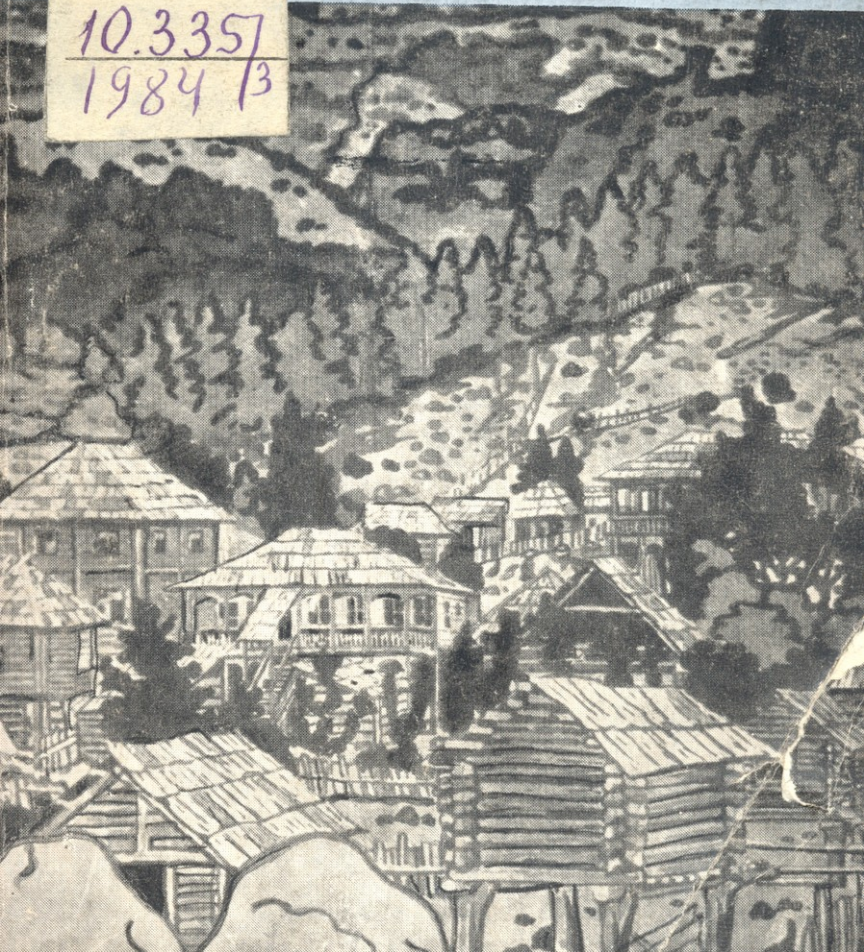
3022-1101030

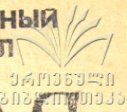
# ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

# 8

1984

10.3357  
1984 13





# ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

Орган Союза писателей Грузии

ИЗДАЕТСЯ С ИЮНЯ 1957 ГОДА

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

|   |     |
|---|-----|
| НОДАР ДУМБАДЗЕ. Талико. Рассказ.<br>Перевод Зураба Ахвледиани                               | 3   |
| СИЛОВАН НАРИМАНИДЗЕ. Стихи. Пе-<br>ревод Владимира Леоновича                                | 12  |
| ГЕНО КАЛАНДИА. Стихи. Переводы Ма-<br>рины Кудимовой, Александра<br>Межирова, Аллы Марченко | 18  |
| ТАГУ МЕБУРИШВИЛИ. Стихи. Перевод<br>Олеси Николаевой  | 27  |
| МУРМАН ДЖГУБУРИА. В тени груше-<br>вого дерева... Роман. Перевод Нодара<br>Тархнишвили      | 32  |
| ЗИНАИДА БИТАРОВА. В гостях у Аню-<br>ты. Рассказ.   | 113 |
| АЛЕКСАНДР ТАМАЗИШВИЛИ. Едущие<br>на юг. Рассказ.  | 121 |
| НИКОЛАЙ ЛЯТОШИНСКИЙ. Рассказы.  | 126 |

### ОЧЕРК

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| ВЛАДИМИР ОСИНСКИЙ. Право на<br>власть | 134 |
|---------------------------------------|-----|

8

1984



КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

|  |     |
|--|-----|
| РЕВАЗ ЧХАРТИШВИЛИ. Новеллы Рева-<br>за Мишвеладзе . . . . .    | 149 |
| СОСО СИГУА. Роман о поэте . . . . .                            | 159 |
| ЛИНА ХИХАДЗЕ. Еще раз об интерпре-<br>тации классики . . . . . | 167 |

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

|   |     |
|---|-----|
| БОРИС СИВОВОЛОВ. Неизвестное сти-<br>хотворение Константина Чичинадзе . . . . . | 181 |
|---|-----|

НАУКА

|  |     |
|--|-----|
| ЛЮДМИЛА РОССОХА. К истории гру-<br>зинской колонии на Украине. Вторая<br>половина XVIII века — XIX век. Окон-<br>чание . . . . . | 183 |
|--|-----|

ДОКУМЕНТЫ. ПИСЬМА. ВОСПОМИНАНИЯ

|  |     |
|--|-----|
| М. РЫЖЕНКОВ. Слустя два века. По-<br>длинник полномочий представителей<br>России на русско-грузинских перегово-<br>рах в 1783 году . . . . . | 206 |
|--|-----|

РЕЦЕНЗИИ

|  |     |
|--|-----|
| МЕРАБ ГЕГИЯ. Книга-исповедь . . . . .        | 209 |
| ИГОРЬ БОГОМОЛОВ. Немногое о многом . . . . . | 216 |

ИСКУССТВО

|   |     |
|---|-----|
| АННА НИКОЛАДЗЕ. Встреча с пре-<br>красным . . . . . | 219 |
|---|-----|

---

|                   |     |
|-------------------|-----|
| ХРОНИКА . . . . . | 223 |
|-------------------|-----|

10.335  
1984



— Слышь, опусти-ка трусики! — сказал я.

— А что это такое? — удивилась Талико.

— Трусики — это штанишки. По-городскому, — объяснила не менее удивленная Циала.

— А зачем их опускать, дуралей? — рассмеялась Талико.

— Хочу взглянуть на твою родинку! — попросил я.

— На какую еще родинку?

— А ту, что пониже пупка, направо.

Талико чуть приспустила трусы, обнажив красивую, похожую на рубиновую горошинку родинку.

— Не будь она дурой, сидела бы вот здесь! — Талико приложила указательный палец к щеке и тут же по-мальчишески, пригнув голову, бросилась в воду.

\* \* \*

С тех пор минуло лет сорок.

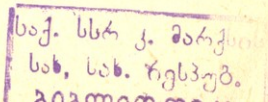
В ту далекую пору мне, Талико, Циале и другим нашим одноклассникам было лет по семь-восемь, и часто после уроков мы плескались в нашей речушке Чурчкале в чем мать родила. В тот день Талико и Циала почему-

Нодар ДУМБАДЗЕ

# ТАЛИКО

Рассказ

Перевод Зураба АХВЛЕДИАНИ





то не захотели раздеться. Я тоже. Тогда я так и не нашел объяснения происшедшему. Теперь я догадываюсь: то был день, когда нас впервые коснулось бессознательное чувство неловкости и стыда, и моя просьба к Талико была последним прощанием с детством...

...Еще год я проучился в чагаурской начальной школе, потом мамина родня временно забрала меня на воспитание в Сухуми. Впоследствии я не раз приезжал в деревню, но встретиться с Талико так и не пришлось, хотя я наводил про нее справки. Говорили, что она очень похорошела, что нет в Гурии девушки краше нее, что многие просили ее руки, и все без успеха, что жениха себе она выбрала сама — выходца из Лечхуми, некоего Авдидо Карселадзе, и привела его к себе домой. Про Карселадзе ходили слухи—что-де занимался он раньше разбойничьим промыслом и не брезгал даже мокрыми делами. Другие, наоборот, восхваляли его доблесть и честность, а среди жертв называли одного лишь подонка — убийцу невинного отца Карселадзе.

Разные ходили слухи...

Теперь я — уже знаменитость — стою с печально опущенной головой у гроба и оплакиваю выросившую меня бабушку. Во дворе нашего чагаурского дома колышется море народа.

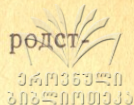
— Соболезную вашему глубокому горю, уважаемый Нодар! Крепитесь, этого никому не миновать... Вы помните меня? Я — Гурам Тотибадзе, — он долго и крепко жмет мне руку. Я благодарственно киваю головой. Он уходит довольный.

— Мужайся, Нодар, мы рядом с тобой, вся твоя родня! Не узнаешь меня? Эх ты, скотина! Да ведь я Дгапайя, внук сестры твоей бабушки!—Мы обнимаемся.

— Мамочки мои! Как ты изменился, парень! Дай бог тебе всех недожитых покойницей дней!.. Узнал? Ну да, Тухия я, Габуня, учились вместе. — Мы целуемся.

Я начинаю подозревать, что народ валит сюда скорее с целью повидаться со мной, чем попрощаться с бабушкой. Я оставляю ее на попечение своих двоюродных

и троюродных братьев и сестер, многочисленных родственников, и выхожу подышать на воздух.



\* \* \*

На длинном бревне под мушмулой сидит Ражден Себискверадзе. Судя по окружающей его толпе, он рассказывает нечто интересное.

Я вхожу в круг.

— Батоно Ражден, разрешите присесть с вами, если не стесню, — попросил я.

— Да какое там стеснение! Пожалуй сюда, дорогой мой! — Ражден живо подвинулся.

— Извините, прервал вас... Можно и мне послушать ваш рассказ?

— Ничего особенного... Так, вспоминал молодость... Работал я тогда в Потии на погрузке марганца... Вывозили его на пароходах англичане почти что задаром... Подрядчик Дзуку Дихаминджия платил нам по четыре двугривенника в день на душу... Да... Вагон грузили по три человека. Из нашего села — я, покойный Галактион Накаидзе и покойный Автандил Гургенидзе, царствие им небесное... Лопаты были у нас — фунтов на тридцать...

— Ну да, свидетелей-то нет в живых, — хихикнул Коция Намгаладзе.

Ражден искоса, с разбойничьим прищуром взглянул на него, но промолчал, погладил бороду и не спеша продолжал:

— А что значили те четыре двугривенника? Скажем так: в столовке глубокая миска борща — семь копеек. Котлеты с макаронами — десять копеек. Хлеб... хлеб давали бесплатно. Соль — тоже. Все это — два раза в день. Стало быть, тридцать четыре копейки на пищу. Табак — три копейки, столько же — на баню... Так что оставалось у меня чистых сорок копеек в день...

— А вино? — вставил тот же Коция.

— Ну, вино у нас было свое, наш чагагурский оджалеши! — вскинул гордо голову Ражден.



— А вареные яйца? — Коция, слышавший, наверно, рассказ Раждена в тысячный раз, знал наизусть его меню.

— Да что — яйца! Яйца тогда шли за копейку штука, — снисходительно улыбнулся Ражден.

Признаться, несмотря на траурный день, я настроился на шуточный лад.

— Значит, вы всем довольны были? — спросил я.

— Вовсе нет! Хотелось бесплатно.

— Что — бесплатно? — не понял я.

— Бесплатно, батоно Нодар, хотелось бесплатно иметь яйца! — дважды повторил Ражден.

Поднявшийся вокруг громкий хохот заставил меня покинуть толпу и вернуться в дом, к родственникам.

— Тише вы, люди! Как-никак похороны! — шикнул кто-то на нас.

\* \* \*

Поздно вечером, перед тем как родственники и соседи собрались за поминальным столом, я заглянул на кухню.

Мужчины нарезали рыбу и красиво раскладывали куски по тарелкам. Часть женщин сооружала на деревянных тарелках салат из огурцов и помидоров, другая — хлопотала у огромного котла, в котором пыхтел и пузырился янтарный гоми, третья — приправляла лоббио. У камина сидел и дымил глиняной трубкой старейшина села — Галако Сихарулидзе.

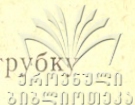
— Здравствуйте, батоно Галако! — приветствовал я старика и присел рядом.

— Здравствуй! Ты кто будешь? — Галако не узнал меня.

— Это — Нодар, внук Ангелины, — подсказал мой одноклассник Гия Тутберидзе, — да помнишь ты его, детство он провел в нашем селе!

— А, это который позорит в газетах нас, гурийцев?

Зачем ты это делаешь, сынок? — Галако выбил трубку о задубевшую как подошва ладонь.



— Сколько вам лет, батона Галако? — ушел я от ответа.

— Сто семнадцать!

— Ух ты! — вырвалось у меня.

— Точно. Я помню рождение твоей бабки Ангелины. Эх, горе о детях свело несчастную в могилу, иначе жила бы она припеваючи — ведь ей было всего девяносто один! — Галако сокрушенно покачал головой.

— Сам-то он, знаешь, как шестнадцатилетний мальчишка, — шепнул мне Гия, — и видит, и слышит, и соображает отлично. А склероз у него, знаешь, развился какой-то обратный — вспомнил каждый день со второго года.

— С девятьсот второго? — удивился я.

— Не с девятьсот второго, а с тех пор, когда мне было два года, — поправил Галако и вновь запыхтел трубкой. — Что это там красное в миске? — обратился он к Гие.

— Красная икра! — прыснул Гия.

— Дай-ка попробовать! — протянул Галако ладонь.

Не успел я схватить Гию за руку, как он зачерпнул полную деревянную ложку приготовленного для приправы лобии толченого красного перца и положил его на ладонь Галако. Тот сразу отправил в рот жгучую смесь и, прикрыв глаза, стал, причмокивая, смаковать ее. Вместо Галако у меня сперло дыхание и загорелись внутренности.

— Ты что, обалдел?! — накинулся я на Гию, но тот лишь улыбнулся и успокоительно повел рукой:

— Не волнуйся!

— И это у вас называется икрой? — недовольно



поморщился Галако, покончив с перцем. — Вот в наше время, помню, была икра как икра! Съедаешь в Батуми, а вкус во рту держался до самого Чиатура и еще целую неделю!

— А что я тебе говорил? — улыбнулся мне Гия.

\* \* \*

— Здравствуйте, батано Нодар! — раздался за моей спиной женский голос.

Я обернулся. Передо мной стояла стройная женщина с чуть пробившейся в волосах сединой. Прекрасные карие ее глаза светились теплом и улыбкой.

— Здравствуйте, калбатано... — ответил я смущенно. Как я ни напрягал память, вспомнить — кто эта женщина — не смог, хотя и был твердо уверен, что знаю ее.

— Какая еще калбатано, ведь это наша Талико! — сказал Гия, положив руку мне на плечо.

Боже мой! Действительно Талико! Ее глаза, ее брови, подбородок, правильный нос, высокий лоб и красивый рот с белоснежными зубами... В груди у меня что-то оттаяло, в теле разлилось приятное тепло.

— Здравствуй, Талико! — не стесняясь никого, не испрашивая разрешения, я раскрыл объятия и прижал к груди Талико — как родную, близкую, как родственницу, как плоть и кровь свою, как явившееся передо мной мое босоное, голенькое, полуголодное, но безгранично счастливое детство.

— Талико, моя Талико! — повторял я, с трудом сдерживая подступившие к горлу слезы. — Как ты, что ты, где ты? — спрашивал я, не сводя с нее глаз. А она, с зарумянившимися — то ли от неожиданности моих объятий, то ли от жара — щеками, растерянно стояла, опустив голову, и неловко перебирала руками.

— Так, ничего себе, спасибо, батано Нодар... А как вы самиживаете? — проговорила Талико, по-

том повернулась, подседа к котлу с лобие и стала помешивать его огромной деревянной ложкой. Я уселся рядом на низком треногом стульчике.

— Сорок лет я не видел тебя, Талико, — нарушил я затянувшееся молчание.

— Точно, сорок лет, — ответила она, не поднимая головы.

— А лобие у тебя получилось жидковатое, — проявил я свои кулинарные способности, не найдя другой темы для разговора.

— Об этом не беспокойтесь. батоно Нодар, подсыплю щепотку картофельной муки, и оно загустеет, хоть ножом режь, — улыбнулась Талико на мое глупое замечание.

— Ради бога, не зови меня «батано», а то мне кажется, что разговариваю с кем-то чужим, — попросил я.

— Надо привыкнуть. Попробую... — обещала Талико.

— Говорят, ты замужем?

— Давно.

— Сколько детей?

— Семеро.

— Сколько?!

— Семеро. Чему ты удивляешься? У меня есть даже внук, Бата, четыре ему годика! — сказала Талико горделиво.

— Не верится! Ты выглядишь очень молодо!

— Мы с тобой ровесники, но я рано вышла замуж.

— Значит, семеро детей?

— Да, Датиго, Гиви, Тамаз, Гиули, Этери и Вано.

— Так это шесть.

— Кого же я пропустила, прости господи! А, Джаба! Миленький мой Джаба! Он седьмой!

— Видать, хороший у тебя муж...

— Отличный! Лечхумец он.

— Как же гурийцы отдали тебя лечхумцу?



— Очень просто, он оказался лучше других! — похвасталась Талико.

Мне вдруг захотелось подшутить над ней.

— Коли так, я сегодня же разрушу твою семью! — пригрозил я ей, приняв позу оскорбленного гурийца.

— Как это? — спросила она изумленно.

— А вот так: скажу ему про твою красивую родинку пониже пупка, вправо, и... конец тебе!

— Нодар, не своди меня с ума! Откуда тебе известно про мою родинку?! — вспыхнула Талико.

— Забыла Чурчкалу?

— И ты сорок лет помнишь ту родинку?

— Помню, Талико! Ведь что значит быть писателем? Помнить все, и только.

Талико долго молчала. Потом произнесла не то с сожалением, не то с горечью:

— А ведь Авдидо ни разу не видел той родинки...

Я не поверил собственным ушам. В горле у меня пересохло.

— Что ты сказала?!

— Не видел родинки чудачок мой муж! — повторила Талико с улыбкой.

Боже великий! Объясни, растолкуй мне, что это такое?! Проявление высшего божественного морального совершенства или... Дева Мария, дай мне понять, о чем это толкует мать семерых детей?! Дай название тому, во что немыслимо поверить! Открой мне тайну услышанного! Я отказываюсь понять его!..

\* \* \*

Талико лежала на деревянной тахте, подложив руки под голову, и глядела в потолок.

К полуночи в комнату вошел Авдидо — уставший от дневных трудов, высокий, стройный, сильный и красивый. Он подсел к угасавшему камину, прикурил от уголька, не спеша выкурил сигарету, бросил окурочок в камин, потом бесшумно разделся и осторожно лег рядом с женой.

Талико не шевельнулась. Авдидо почувствовал, что жена не спит, но все же спросил:

— Не спишь?

Талико молча мотнула головой.

— Подвинься немного.

Талико подвинулась.

Помолчали.

Потом Авдидо повернулся к жене, прильнул к ее уху горячими губами и прошептал:

— Талико, покажи мне твою красивую родинку...

Пониже пупка, вправо.

У Талико замерло сердце и окаменел язык. Лоб ее покрылся холодной испариной... Придя в себя, она взглянула на мужа:

— Авдидо-непутевый, откуда тебе известно про мою родинку?!

— А Бата сказал, внучек наш. Накуролесил он вчера, я и решил отшлепать его. Спустил с него штанишки, но, увидев родинку у пупка, отошел и поцеловал шельмеца в самую родинку. А он мне:

— Деда, знаешь, такая родинка и у бабули. Она показала, когда купала меня в Чурчкале...

Талико перевела дух, потом вся расслабилась, потом расхохоталась, наконец, расчувствовавшись, прильнула к груди оторопевшего мужа, обняла его и расплакалась:

— Эх ты, Авдидо, эх ты, Авдидо, эх ты...

— Да что с тобой? Перестань! Перестань, ради бога! — успокаивал жену перепуганный Авдидо.

— Если б ты знал... Если б ты знал, чудак, как я тебя люблю! Если б ты знал, дорогой...

— И потому ты плачешь? — спросил удивленный и счастливый Авдидо.

— Потому... Потому и плачу... Потому... — шептала Талико, и не было в тот миг силы, способной унять взволнованную женщину.



Силован НАРИМАНИДЗЕ

## ПО ТОЙ ТРОПИНКЕ

И снова Кахетия,  
Снова Панкисские горы,  
Долина долин,  
Где родиться мне выпало счастье,  
Тропинка в лесу под листвою —  
Минувшие годы  
Укрыли ее и упрятали в грабовой чаше.  
С тропинки  
Сошло поколенье  
И малости малой  
Перспекты свои предпочло, автострады и прочее...  
Чего мы хотели —  
Мы в этом успели, пожалуй.  
Чего же ищу я теперь  
В облетающей роще?  
Следы моей юности,  
След позабытого детства?  
Но памятны так эти выбоины, изгибы...  
Все выше взбираюсь —  
Как гулко колотится сердце!  
И что-то под нос бормочу —  
То ль «прости»,  
То ль «спасибо».  
Обрыв.  
Каменистая осыпь.  
Потемки лощины...  
Под гнетом скалы протеснясь, разрушая оковы,  
На волю  
Родник пробивается неистошимый —

Чтоб мудрости я причастился,  
Простой, родниковой.  
Струя ледяная звенит  
И бежит без запинки,  
Бесстрашно — на зависть — в расщелине вновь  
пропадая, —

Затем, чтобы вновь  
Эту повесть ручья и тропинки  
Прочел я сейчас —  
Как читала душа молодая.  
Обрыв!  
Мне тут не было страшно нисколько, и ноги  
Ничуть не дрожали, и сердце не ведало дрожи —  
Как там, на асфальте...  
Спасибо, тропа.  
За дороги!  
Прости меня, тропка.  
За что? Я не знаю.  
И все же...

## БОДАВИ

Померкли краски и уснули.  
Вершины с небом тьма света.  
Черны ущелья Ананури.  
Луна прозрачная светла.

Тропа отходит на Бодави.  
Щебенка чуткая шуршит.  
Спят — кто в дорогу опоздали.  
Одна душа моя спешит...

Куда? Зачем? Потерпят предки,  
Еще столетье подождут.  
В часовне ветхой гости редки.  
Там не проходит турмаршрут.

Там ходят ветры и туманы,  
И призраки, и облака,



И дом стоит обетованный,  
И тлеют угли очага...

Навязчивое сновиденье,  
Не знаю, чье, томит меня:  
Высокогорное селенье,  
И дом, и дева у окна.



## ТАМ

Коса в траве высокой не сквозит.  
На кладбище косцы — мои дядья.  
В дарбазимышь летучая висит —  
Знак запустенья и небытия.

И в сумерках изломанный полет  
Как будто беглый след карандаша —  
Кто письма на воздушные прочтет?  
О чем ты молишь, бедная душа?

Притихла речка и ушла форель,  
Но зелен луг и солнце горячо...  
Жизнь как отлив ушла с крутых земель,  
Но как прилив подымет еще...

## ГАБРИЭЛ ДЖАБУШАНУРИ СПУСКАЕТСЯ С ГОР

Вот он минует  
                                амфитеатра  
  чуткую раковину.  
Остановился. Замер — не дышит. Лишь отзывается  
Камень разумный, камень родимый — гулу сердечному,  
Вздоху стесненному, стону невольному, слову  
  невнятному.

Джабушанури!

Джабушанури!

Что же ты делаешь!

Как оставляешь ты за спиною камни безмолвные,  
Как отнимаешь ты у Архоти слово отзывное,  
Как покидаешь Давитауров гордых надгробия?  
Жил ты высоко,

Джабушанури,

ясно и праведно, —

Первый поэт, слово и песнь всей Хевсуретии.  
Ты разделил с краем отцов участь суровую —  
Как капитан с судном своим, терпящим бедствие.  
Ты победил:

ты сочетал

слово грузинское

С эхом ущелий, блеском вершин, тьмою и молнией!  
Ты победил: ты превозмог гнет одиночества,  
Ты уловил эту игру тени и пламени,  
Ты воскресил

блеск и узор

ткани и бисера,

Ты сохранил вечный огонь и слабый, бестрепетный —  
Что озарял в темных веках быль и предание,  
Сам, Габриэл, стал ты для нас былью и притчею.  
Как твой сосед

недалеко

за перевалами

Некогда жил — жив навсегда — жив и крестьянствует,  
Речью живой вечно дарит тварь бессловесную,  
Вечно хранят слово его горы чаргальские,  
Как в тесноте

червь шелковичный

трудится в коконе, —

Так, Габриэл... Так, Габриэл... Трудно — прости меня.  
Ты человек. И человек к людям спускается.  
Трудно дается каждая пядь — даром что под гору.  
Тут бы и стал

в цирке кривом —

с места не стронулся —

Тут бы и врос тяжелой стопой в осыпь бесплодную...  
Снова идет — будто не он — вчуже и замертво —  
Некто иной — праздная плоть — тень габриэлова.  
Джабушанури!

Джабушанури!

Что же ты делаешь?

Не промахнувшейся ли стреле ты уподобился?





Леки ль коварные гонят тебя, дэвы ужасные?  
Как без призора, как без души земля твоя брошена??  
Медленный путь.

Путь ледника.

Медленно

сумерки

Сходят окрест — на Цихисджвари и на Цхракари — и  
На Ахиелу ночь налегла... Чем утешаемся?  
Тем, что грузин — всюду грузин. Тем, что невидимо  
И остается он,

и живет

вровень с вершинами...

## ПОЛОН ДЕНЬ

Нет, леса, я больше не могу  
Приходить к вам. Почему, не знаю.  
Вот лежит полвека на боку  
Та арба, что шла над Алазанью.

Сандала-малыш быков повел...  
Где же Сандала и где упряжка?  
День сентябрьский стоит, как вол —  
Бесконечный день — и дышит тяжело

Где тут мостик был? Еще дубы  
Были возле... Нет, невероятно,  
Что колеса едут у арбы —  
Катятся по воздуху — обратно!

Где дубы? Тропинка да бурьян.  
Там и Сандала, старик-возница.  
Полон страданный день, устал и пьян,  
На закат невидимо кренится.

Как душа живет? Все на бегу.  
На ногах она, и спит, как лошадь...  
Нет, леса, я больше не могу...  
Не могу упасть и обезножить.

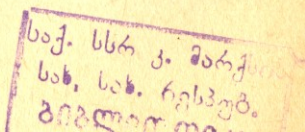
## ВЕРШИНА

Вершина вошла  
В черноватое небо, как в море —  
Пределы судьбы таковы  
И пространства разбег.  
Ни радости горней,  
Ни жалости дольней,  
Ни горя —  
Лишь ветер да снег.

Земли под ногой  
Острие,  
Земля под тобою  
В зените.  
Спасительный страх побежден.  
Жизнь твоя — отлегла.  
И порваны  
Памяти кровеносные нити,  
Настала свобода,  
И ночь подошла.

Куда же теперь,  
Человечек победоносный,  
Достойный победы?  
Вперед — но куда?  
Вперед!  
Ты не чувствуешь холода бездны морозной,  
И шаг совершаемый не составляет труда.

Перевод Владимира ЛЕОНОВИЧА



126.283



## ГРУЗИНСКАЯ ПЕСНЯ

И солнцем....  
И дождем...  
И ветром гладила поля отчизны,  
И упованием крестьян дремала, на мотыгу опершись,  
За гриву конскую держалась на скаку  
И кровью проступала на висках.

Лососем билась о речную плоть,  
Щелчком хлыста быков будила пегих,  
Из Агзевана добиралась кристаллом слез.

Заждавшейся женой с безудержною страстью  
Работников земли ласкала.

Как почка, раскрывалась невзначай  
В душе у пастуха,  
Отшельника,  
У воина,  
У ветреной девицы.

У девы на устах, как бабочка, плясала  
И засыпала на ее подушке.

Из горла соловья выпархивала трелью,  
Рыданьем скорбным  
И ликованьем,  
И криком «Аллилуйя!»,  
Из душ поэтов изливалась лавиной, рушащей запруды.

На листе дубовом,  
На лепестке у розы дрожала росной каплей,  
Нагою королевой вставала в лунном свете.

Флодом лозы, похожим на слезу, на землю Картли  
падала,

Потоком горным грохотала,  
Струилась из-под купола лучом стрельчатым,  
К заутрене в небесный колокол звонила  
Заблудшим.  
Путникам,  
Паромщикам,  
На перепутьях родины зарею подымалась.



Вела войска Тамар,  
В Гелати победительницей шла из Дидгори,  
В последний путь возлюбленную провожала,  
И птахой золотой слетала умирать на сердце  
Марабдели,  
И воскресала  
Птицей Феникс.  
Была царицей на родинах..  
На твой огонь шли греться прихожане  
С Дарьяла по Эвксинский Понт.

Вознесись, о душа,  
Мыслью, мечтою,  
Болью, слезою, пылом любовным,  
О, вознесись,  
Душа голубиная,  
В размахе крыльев неся бессмертие.

## НАД КСАНИ, НАД АРАГВОЙ НЕБА ЛИСТ

Над Ксани, над Арагвой лег туман,  
И роз, таких, как здесь, не встретишь в мире,  
Но восхищенье ими — сплошь обман  
Пред строчкой карталинского шаири.

Рубин мерцает из-под глубины  
На водорослях Ксани и Арагвы,  
И желтый блик недреманной луны,  
Как золотой, отскакивает в травы.

Над Ксани, над Арагвой неба лист —  
Как бы раскрыли книгу Эристави.



Отчизна, жизнь моя! Как бег твой быстр,  
Как всю тебя пространства пролистали!



Над Ксани, над Арагвой лег туман.  
И роз, таких, как здесь, не встретишь в мире,  
Но восхищенье ими — сплошь обман  
Пред строчкой карталинского шаири.

Над инскими полями натянут желтый гарус,  
Через Арагви ворон перелететь успел.  
Вид на Тбилиси дальний, луны осенней парус...  
Но нежный Гришашвили уже про это спел.

Почетный обитатель теснинных переулков,  
Раб божий Пиросмани сквозь двор идет-парит.  
Кто загадал желанье, куда падал гулко  
В Куру небесный камень — большой метеорит?

И сам пред девой Цхнети упал я на колени,  
Я для стихов, как розу, ее облюбывал.  
Не плачь! Тебя люблю я, как небосвод весенний.  
Люблю, как в Нарикала стен крепостных обвал.

Люблю, как склон Мтацминды, в тумане чуть заметный,  
Как праздник, как распятые, как смертный, как  
бессмертный.

Угнетенный жизни маетой,  
Я отбой сыграю и скончаюсь.  
Мировой подхваченный тщетою,  
На ее просторе покачаюсь.

А пока колотит о борта,  
Знаю то, что неудачник всякий.  
Что мечтой останется мечта.  
Лбом иду на ветер, как Акакий.

Если хоть улыбку я срывал,  
То всех женщин называл своими,  
В океан открытый уплывал.  
Неизвестность — океана имя.

Впрочем, если я и помню вас,  
То как лист измокший на платане.  
Вы под солнцем бродите сейчас,  
Выгибая вашу шею ланью.



Мне сегодня до своих обид.  
Что вчера ожгло — то догорает.  
Солнце на вершинах снег дробит —  
Так огонь в душе моей играет.

Я бы вечных книг насочинял,  
Я б мотив нашел — не пел по-рыбьи,  
Только жизнь скользнула от меня,  
Как форель когда-то в водах Бзыби.

## ПРИГУБЬТЕ В ЧАШЕ ЧЕРНОЕ ВИНО

Бесики — царице Анне

Я в воскресенье буду при дворе  
Пажом у Ваших ног.  
Я Вас люблю!..  
Бессоннице я предан, как сестре,  
Все лето смерти вызовы я шлю.

Ошейник верности вручите мне,  
Другим — казну и золотой запас.  
Я ненавистью искушен вполне  
Ко всем на свете, исключая Вас.

В затворе век мне провести дано —  
Я свято помню заповедь Христа.  
Пригубьте в чаше черное вино —  
Мне дайте ядом осквернить уста!

Бесики — вновь царице Анне

Лицом к лицу бескровная луна,  
И духовник, от слез изнемогая,  
Меня отпел... Дорога в рай одна.  
Резь в соловьином горле, дорогая!



На мне любви неизлечимой знак,  
Вы на него с испугом посмотрели.  
Я мертв — почти.  
Я умираю так,  
Как все любовники и менестрели.



## БАЛЛАДА О ВИШНЕ

Вариация на старую тему

Дождь посетил деревню Сакаландио,  
И молодая вишня обнажилась.

...И вот собрался деревенский сход  
И загудел, как раздраженный улей.  
А деревце дрожало и светилось,  
И так смотрели на него миряне,  
Как будто им явился сатана.

Держал всю паству пастырь в поле зренья,  
И так непререкаемо сказал:  
— У нас тысячелетние законы  
И культ семьи,  
И мы не предадим христовой веры.  
Мы вознесемся  
Иль в земле истлеем,  
Но срама не допустим никому.

Они распяли дерево нагое,  
Отступницу,  
Которая послушалась дождя  
И перед ним разделась.

Перевод Марины КУДИМОВОЙ

И были воскрылья тебе снежно-белые в пору,  
И первое платье из легкого снега к лицу,  
И горы окрестные слушали гордую гору,  
В честь первого снега одетую, словно к венцу.  
И сеялся снег негустой на густые посевы,  
И было у неба лицо Пресвятой Богоматери Девы.

Перевод Александра МЕЖИРОВА

## ВОСПОМИНАНИЕ

Вспоминаются отец и мать,  
Облаков над Рухи переливы,  
Где зари кизиловая гладь  
Из ущелья тянется к заливу.

Вспоминаю сказ о десяти  
Изумрудах, помню вечер светлый,  
Ждали бога доброго семьи —  
Нашего отца, хотя б к рассвету...

Мы, три брата, сидя за столом,  
Видели, как тайно, в красной тоге,  
Плыл апрель сквозь мглистость синих крон  
Ранним утром к селам по дороге...

Сколько лет тот мир живет во мне,  
Сколько лет отец идет за плугом,  
О дожде мечтая, о весне,  
Чтобы были мы сильны друг другом...

Нас, уснувших на поле детей,  
Укрывала тенью шелковица,  
Вспоминаю снова, все ясней —  
Пахнет липа, ветер сладкий снится,

И отец бадьею из колодца  
Достает упавший небосвод,  
Журавель скрипит, камыш растет,  
И туман молочный кверху льется...





Сколько лет отец в лесах искал  
Травы и коренья... Расцветая,  
Яблоня белела между скал...  
Сколько лет... На праздник Первомая

В гости к нам с сиреневым цветком  
Забегал мальчишка, сын соседки,  
Плавал ястреб в небе голубом,  
Поднимала дикий гвалт насадка...

Как папаха, сена стог желтел,  
Бык ревел и ночь жевал неспешно,  
И на крыше, ерзая, сидел  
Ветер, весь косматый, словно леший..

Снова вспоминаю мать с отцом,  
И очаг трех братьев, трех поэтов,  
Сказ об изумрудах, старый дом  
И над ним лимонный луч рассвета...

## ОДИН ДЕНЬ

Любимая, ну что с тобой?!  
Что жизнь тебе еще готовит? —  
Обиду? Боль? Видений рой?  
Соседок липкое злословье?  
Любимая, ну что с тобой?

Иль день, наполненный тоской,  
Судьбы определяя тяжесть,  
На сердце каменной плитой  
И холодом глубоким ляжет?  
Любимая, ну что с тобой?!



|

Г. Леонидзе

В Кахети кахетинская луна.  
В Патардзеули пламя белых ив...  
Невесте, скрытой яхонтом воздушным,

Пригрезилось, что ночью половецкой  
Она одна застигнута в степи,  
Но нежно сестры розовым настоем  
Кропили ложе жениха с невестой,  
И белой птицей зимняя заря  
В дворцовое окно влететь пыталась...  
В Кахети кахетинская луна,  
В Патардзеули пламя белых изв.

II

«Я старый человек», — гремит луной  
И песнею подвыпивший Кахети...  
Несет река к востоку небо в звездах,  
В долине Алазани плачет ветер,  
Сорвавшийся с фазаньих толстых крыльев,  
И с песней по долине Алазани  
Бредет потомок «Маленького Кахи».

Перевод Юрия РАБОВСКОГО

●  
О добрый отец мой! В дому голубом  
Сиянье твоей седины.  
И лает наш Серый, вертаться волчком,  
На хвост петуха Луны.

Эгей, Бычье сердце полней бокал,  
Морщины сотри со лба!  
Вернет тебе силу Фазис-река,  
Приречных трав ворожба.

По складу лица среди тыщи лиц  
Признаю своих земляков,  
По вкусу мацони — одишских коров,  
По посвисту—здешних птиц.

Открой души своей семь ворот,  
Пламя раздуй в камине,  
Огнем испытаем мое серебро,  
И я напишу твое имя



На слитке, отец. И увижу во сне:  
Ткемали в кисейном уборе.  
А няня в Илори идет, обо мне  
Молиться уходит в Илори.



Мне сабля Микавы не по плечу,  
Но здесь я за все отвечаю.  
Под вечер мегрелка спускалась к ручью,  
А губы... Апрельскую зорю встречая,

Так открываются колхские розы.  
Туманы Салхино, приморские грозы!  
Я с вами прощаюсь, я вас покидаю.  
Там: дали — за далью, за далью там — дали.

А дальше... Мелькают столбы верстовые,  
Мелькают — считают: сороковые...  
Сорок первый, сорок четвертый —  
Конь мой летит и несутся версты.

Но я возвращусь. Я вернусь назад,  
В табун, с которым связан тавром.  
В дом голубой. В голубиный сад.  
Отец, я вернусь в свой родимый дом.



Дарю вам, бросаю веночек сонетов,  
Вдгонку платочек весеннего цвета.  
Я Шуманом болен, растроган я Григом,  
Но только мигните — все ястребы мигом

Покинут ваш сад — то-то будет охота!  
Награда: одно лишь из ваших свиданий...  
Я буду при шпаге, в плаще Дон Кихота,  
А вам обещаю цветы всех Испаний.

Перевод Аллы МАРЧЕНКО



## ДЕТСКАЯ ФОТОГРАФИЯ

Мой давний снимок —  
детства письмецо:  
из времени,  
как из глубин колодца,  
мальчишечье открытое лицо  
чертою каждой радостно смеется.  
Что за причина —  
хохотать, сиять,  
блестеть, сверкать  
кудрями и глазами,  
еще меня в себе не узнавать,  
не думать вовсе,  
что ж случится с нами...  
Что за судьба! —  
взирая сквозь стекло,  
сквозь аппарат с оптическим обманом,  
еще не различать  
добро и зло  
и плыть,  
и плыть  
воздушным океаном!..  
И сверх того —  
Остаться так  
навек,  
чтоб я —  
унылый,  
скверной отягченный —  
воскликнуть мог:  
«Вот это — Человек,  
от замысла творца не отлученный!»

## КАК ЖИЗНЬ МАЛА!

Как жизнь мала,  
чтоб смысл объять!



Она  
пытается напрячь и слух и зренье,  
но сердце — тесно,  
чтоб вместить сполна  
земную боль, восторг и удивленье  
Любви и состраданью есть предел  
За ним — кричат,  
а мы — уже не внемлем,  
но если нас  
чужой упрек задел,  
оправдываясь,  
будоражим землю.  
Я звезд не вижу, —  
пыль на рукаве  
сдувая в злобе,  
мелочью разменной  
весь день гремлю в усталой голове,  
гордясь собой  
пред этой жизнью брэнной.  
И так — иду я мимо и насквозь,  
не видя ни трагедий, ни пародий,  
не слыша слов,  
с небесной волей — врозь:  
бессмыслица,  
как пес,  
за мною ходит.  
Случайность,  
издеваясь надо мной,  
с насмешкой корм сует моей гордыне,  
и, словно горб,  
ношу я за спиной  
груз скорби,  
не оплаканной поныне.  
Мне кажется порою —  
разорвусь  
меж мнениями видимого мира,  
нет-нет да и по-детски разревусь  
некстати вовсе,  
посредине пира...  
Что делать мне,  
когда я не помог  
убогому,

не дал огня и пищи  
бродяге позднему,  
и средь ночных дорог  
меня покинул мой последний нищий!  
Что делать мне,  
когда я не сказал  
люблю — любимым  
(вспоминал за дверью...)  
И — только крепче узел завязал  
греха и муки,  
страха и безверья!  
...Как жизнь мала!  
Чтоб смысл объять,  
она  
пытается напрячь и слух и зренье,  
но сердце — тесно,  
чтоб вместить сполна  
земную боль, восторг и удивленье...

## МАТЕРИ

Мама,  
рвется жизнь:  
связать  
не могу рукой нецепкой,  
неужели не узнать  
мне любви —  
живой и крепкой?  
Той,  
какою любишь ты,  
издалека видя  
в гуще  
все глубинные черты  
жизни,  
сквозь меня текущей;  
зная —  
без вестей извне —  
затужил и занедужил,  
приносил тебе  
во сне  
мертвый блеск



речных жемчужин.  
...Отступала вдруг  
беда,  
разрывалась сеть  
молитвы:  
О, я чувствовал всегда  
помощь от твоей молитвы!  
Почему ж  
в душе опять  
не лицо,  
а холод слепка?  
Неужели не узнать  
мне любви —  
живой и крепкой?..

### ЭТОТ ВЕЧЕР

Этот вечер забыть  
не могу я, мне не удастся:  
заходящее солнце  
заливало простор краснотой,  
в ярко-алом кувшине  
мама воду несла из колодца,  
и сжималось вдруг сердце  
от этой картины простой,  
и казалось: вот-вот  
дым сгоревших поленьев сольется  
с черной маминой тенью —  
согбенной, усталой, хромой!

### К ТЕБЕ

От столичного лоска,  
кичливых друзей,  
лживых фраз,  
от притворных поэтов  
с амбицией в жесте и тоне  
и от приторных женских  
безвкусно раскрашенных глаз —  
вот откуда я вырвался,

еле сбежав от погони!  
Я к тебе припадаю —  
спаси, сохрани, огради:  
от когтей самолюбья,  
вцепившихся в сердце свинцово,  
от змеи своеволя,  
которая лестью в груди  
притаилась —  
всегда  
для принятия жертвы готова!..  
Я тебя умоляю —  
верни, исцели, подними  
из болота и грязи,  
из праха, греха и злодейства:  
спой,  
как древний аробщик,  
кострами меня продыми,  
вспыхни лугом полдненным  
и сочностью ягод пролейся;  
прокукуй среди леса,  
в горах промелькни,  
как олень;  
просияй алычой  
в час, когда все покрыто росой,  
и, глаза омочив,  
будто клад,  
драгоценнейший день  
из-под спуда забот  
я добуду счастливой киркою!  
Ты — любовь моя,  
радость,  
вместилище света,  
дитя!  
Чистота и чудесница,  
о, как уверен я в этом:  
ты в сокровище вечное  
мир превращаешь шутя, —  
между прочим пройдясь,  
прикоснувшись к простейшим предметам!..





Мурман ДЖГУБУРИА

**В ТЕНИ  
ГРУШЕВОГО  
ДЕРЕВА...**

●  
**Р о м а н**  
●

Перевод  
Нодара ТАРХНИШВИЛИ

**К** НАВЕСУ для просушки табачных листьев прислонился сосед с лещиной в руке, имени его не помню (никогда и не знал, признать). Два вола одной масти, от одинаковой жизни поразительно похожие друг на друга, лениво жуют жвачку; порой какой-нибудь из них подается вперед, но, не найдя поддержки, останавливается не упрямясь. Смирно стоят волы, слушают разговор людей, ждут.

Первой на арбу поднялась мать. Дядя Баги усадил ей на колени мою младшую сестру Маквалу и обернулся ко мне: «Ты уже взрослый, — говорит, — держись»; поднял меня, поцеловал и, тут я не могу сказать, он посадил или я сам взобрался на арбу; видится мне и так и этак, подобного рода двояковидения часты в моей памяти. Порой, к примеру, покажется, что я стоял в тени ореха, где сейчас волы жуют жвачку, но, присмотревшись, я вижу де-

рево совершенно иным и знаю наверняка, что ни когда там не стоял; или коптилка, которой я посветил позднему гостю, видится вдруг иной, незнакомой, знаю наверняка, что держал ее не я, а мой двоюродный брат Бочо Тутариа (благо он старше годами), хотя гостя мог встретить кто угодно, и вообще, если он был наш сосед, позаборный сосед в придачу, то прекрасно мог подняться по лестнице без тусклого света коптилки...

Вечерело. До Цали, куда отвозил нас аробщик, было километров пятнадцать. В Цали мы сойдем и останемся ждать попутной машины в Куми.

«Главное, я это везу», — говорит мать, трогая, словно лаская, железную никелированную кровать.

Все уложено. Пора отправляться. Дядя Баги наконец отходит в сторону, и арба трогается: катится по земле, подпрыгивает по камням, скользит по грязи.

Почему мы покидаем дом и куда едем? Что это за Цали или Куми? Кто будет нас встречать? Кто заночует в покинутом доме? Дом останется пустым. Не зажгут больше коптилки в доме... Я чувствовал начало чего-то нового в жизни, бедной событиями, малопримечательной и едва ли осознанной, и жизнью ее нельзя было назвать, но что-то кончилось, что-то начиналось, и я это чувствовал.

У Окуми-реки аробщик соскочил на землю, стал впереди волов и приналег спиной на ярмо, удерживая животных от быстрого шага — река, обыкновенно мелкая, неожиданно разливалась и переход через нее всегда был опасен. Я узнал об этом много лет спустя, когда мать рассказывала про отъезд из Окуми и страх, овладевший ею перед капризной рекой. Ничего страшного, однако, не произошло, мы с миром выбрались на берег и под тихий шелест воды покатали по аробной дороге. Потом шелест утих и наступила тишина. В деревьях зажигались огни коптилок. Почему мы так поздно выехали? «Отправляйтесь завтра», — говорил дядя Баги; «Нет, Баги, — ответила мать, — сегодня!» Дядя не стал возражать.

Окуми, единственное знакомое мне место, оставалось позади. Ни в какой другой деревне я не бывал, если не считать Гумури, но от этой поездки к дальним родственникам по отцу мало сохранилось в памяти, разве



что лепешка из сушеных фруктов и образ шепелявой, бесконечно ласковой старушки; она сразу же зашевелилась, приблизилась, рукой описала круг над моей головой, пробормотала что-то и, присев на краешек стула, долго смотрела на меня умоляющими глазами. Так смотрели мы на образ богородицы с младенцем, который мать повсюду возила с собой (сейчас он висит на стене, над маленьким зеркалом). Икона была в Окуми, икона — в Куми; в семье никогда о ней не упоминали, никогда мать не обращалась ни ко мне, ни к Маквале, ни к Джабу с каким-либо поручением относительно образа богородицы с младенцем, он сопровождал нас как часть нашей души и плоти. Именно о нем я почему-то вспомнил при виде ласковой старушки.

Лепешка из сушеных фруктов, свернутая в трубочку, лежала посередине стола, покрытого несвежей скатертью, чья-то рука бесшумно ее распрямила (все происходило незаметно и бесшумно). Тишина стояла в комнате, и лепешка лежала на столе, покрытом несвежей скатертью. Из приоткрытой одностворчатой двери виднелась дворовая калитка; если бы кто-нибудь вздумал заглянуть в комнату, он увидел бы лишь смутную тень человека, ничего больше, тогда как изнутри калитка и весь двор вырисовывались ясно и четко и не составляло труда разглядеть прищельца и успеть положить на стол фруктовую лепешку или бутылку водки и старинную изящную рюмку на хрупкой ножке — смотря по тому, кто поднимался по лестнице. Бутылка и рюмка были полной противоположностью друг другу, но тем не менее в соседстве не столь разительно различались, напротив, как бы дополняли друг друга, и превосходство рюмки становилось очевидным, лишь когда бутылка пустела и убиралась за ненадобностью. На столе у старушки не было ни бутылки, ни изящной рюмки, на столе лежала лепешка из сушеного инжира, и я это помню. Потом рядом со мной сидела женщина, родственница старушки и, следовательно, наша. «Уходишь, значит», — то ли спросила, то ли заметила женщина. Она была худая, в черном, как и у моей матери, только более поношенном платье. «Уходим!» — сказала мать, чтобы поддержать разговор. Беседовали они долго, жаловались на судьбу, вздыхали, плакали в голос (про себя не

получалось, как они, я чувствовал, того хотели), и вот странность: когда им на глаза наворачивались слезы, они прикрывали их кончиками головных платков. Они переставали видеть, и — с ними переставал видеть я. «Ступай, сынок, во двор», — казалась, хотела сказать мать, но не говорила, словно боялась, что я послушаюсь, а ей было необходимо видеть меня рядом каждую секунду.

Две женщины смотрели на меня, и сердца их исполнялись жалости и сочувствия к матери — ведь она покидала Окуми, деревню мужа, прощалась с мужниными родственниками, возможно навсегда и должна была заставить их пожалеть нас и заодно убедить, что поступает правильно, что иного выхода нет...

Лепешка всю дорогу лежала у меня в кармане, я трогал ее, и рука стала липкой. Лепешка была инжировая, сладкая, вкусная. Я довез ее до Окуми...

Мы приехали в Цали ночью, и арабщик повернул обратно (не пойму, почему он не привез нас прямо в Куми, ехать оставалось не очень много по убитой гравию улице через весь городок и дальше по ровной дороге). Так или иначе, остались мы вчетвером, хотя Джабу еще не родился, но, как подчеркивала мать, мы отправились из Окуми вчетвером. «Что же мне было делать! — она всегда так говорила. — С тремя птенцами на руках, родни у меня не осталось никакой, вот и ушли», — говорила, скорей оправдывалась, когда кто-нибудь из нас, стосковавшись по отцовской родне, спрашивал о причине отъезда. Она была молода, лет двадцати четырех, и, оглядываясь, видела позади себя крохотную зеленую лужайку, впереди же лоснилось изумрудное поле жизни. А дни бежали, и в придачу все в один голос твердили: «Ты молода, ты красива», взять хотя бы Нину, пристала в одну душу: «Красивая ты!» Надоест, а то и обрадует, чего, собственно, и добивалась. Родичам мужа чванливая гордость сомкнула уста: «Наша невестка сама должна знать, как поступать!» — думали они про себя, вслух слова не молвили, ходили или сидели невозмутимо около дома, однако налет боязни лежал на их лицах, похожих на лица подсудимых в ожидании приговора,

---

Мурман Джгубуриа. В тени грушевого дерева...



можно было подумать, сама честь рода Тутарна поставлена на карту и решение молодой невестки определяет его судьбу...

Мы приехали в Куми на «полуторке». Помню, что поднимались на грузовик, помню, что было холодно; не помню, что спал, уткнувшись лицом в подол материнского платья, не помню, как сошли с машины, не помню ни бабушки, ни деда, никого. Открыл глаза — послышалось, будто кто-то спросил: «Приехали?» — голос был странный, грустный и радостный одновременно, и я его запомнил. Ночь была темная. В комнате горел огонь, слышались голоса. Я снова ушел в сон.

\* \* \*

Все здесь было необычным. Солнце и то восходило не с той, привычной мне, стороны, и заходило в противоположную, непривычную, сторону; и дом здесь был другой, и двор; перед домом до ворот и дальше, до самого горизонта, тянулось поле. Вдоль горизонта плыло солнце. Перед солнцем паслось стадо, передвигалось медленно, незаметно, не взглядишься — не поймешь, движется или стоит на месте. «Корова наша видна, Миха?» — спрашивает дед Свимо. (Я сижу на ступеньках лестницы дома или перед приземистым строением кухни и смотрю вдаль. Различу корову — отвечу, а нет — подхожу поближе к калитке). За ворота я шагу не ступал; иной мир за ними, иная страна и жизнь. Стоит это вспомнить, как перед мысленным взором возникают заборы, изгороди, плетни. Заборы большие и малые, низкие и высокие, заборы из лещинных ветвей, перевязанные тонкими и гибкими лещинными же прутьями, заборы редкие и частые, живые кустарниковые изгороди, отделяющие виноградники от полей, усадьбы от вольного простора. На каждом месте, на каждой пяди земли положен межевой знак, каждый клочок тщательно вымерен и обнесен забором; заборы изнашиваются, загнивают, валятся, на их месте возводятся новые. Одна живая изгородь неизменна и вечна, правда, ломаются вековые подпорки и по осени соседская собака или свинья в поисках пищи подкапывает корни кустарников. Все прочие заборы и изгороди каждую новую весну нуждаются в починке, и каждой новой весной хозяева

их чинят, и они отделяют кур от свиней, лошадей от коров, виноградники от бамбуковых рощ, грядки укропа от кукурузных полей, Свимо Дарандиа от Геру Дарандиа, Геру Дарандиа от Леварса Дарандиа и так далее и прочее...

Я, значит, не переступал двора и не хотел: в самом дворе было много интересного и развлекательного...

Тропка шириной с локоть между заборами ведет к конюшне. Дверь конюшни всегда распахнута настежь, и солнечный свет тускло освещает прикрепленные к стене два аккуратно сплетенных лотка с соломой и сухими листьями кукурузы; лошадь у лотков тщательно пережевывает корм, завидев меня, пусть в сотый раз, она слегка вздрагивает и, повернув голову, смотрит блестящими глазами; приблизиться я не смею («Лошадь укусить может, в особенности если учует, что ее боятся...») и, постояв некоторое время, иду обратно, с опаской оглядываясь назад — не гонится ли она за мной. Это длилось довольно долго, но изо дня в день я подходил все ближе к нашей Малии и наконец решился: отправился прямо на конюшню, прихватив с собой табуретку. Попытки вскарабкаться на лошадь ни к чему не привели, я просто-напросто не знал, что в конюшне она вообще никому не даст себя оседлать, не сообразил отвести ее к забору — оттуда было сподручней на нее взобраться, а когда сообразил, Малии и след простыл: либо дел Свимо на ней уехал в поле, либо его младший сын Амидо. Я говорю «его младший сын», потому как Свимо не был мне родным дедом, моя мать и дядя были у бабушки от первого брака. Дядя воевал, и я не видел его, как не видел старшего сына деда Свимо — он тоже был на фронте, и это в моих глазах роднило обоих, не в пример Амидо, хотя с первого взгляда он относился ко мне на редкость ласково и даже на глазах своего отца посадил на лошадь. Что-то нас отделяло (я не зря заговорил о заборах), что-то вроде незримого забора. Мало ли чего не видно, не все разглядишь, а оно есть, было и будет независимо от наших желаний; существует забор между людьми, такой же самый, как

---

Мурман Джгубуриа. В тени грушевого дерева...



забор вокруг нашей усадьбы, отделяющий людей от внешнего мира, только незрим он.

Не любила заборов зима. Она их расшатывала, умаляла в росте, распарывала, валила, расширяла простор. однако же, удивительное дело, простор не манил, наоборот, крепче привязывал человека к дому.

Глубокий, рыхлый снег покрывал окрестности, мело не переставая, мело и валило хлопьями, порой снег выпадал до того большой, что деревенская мельница останавливалась и крестьяне налаживали мельницы ручные, перемалывали кукурузу, засиживались на кухне перед камином...

В камине горит огонь, на каминной полке лежит желтый мандарин. Он напоминает об иной поре, ином настрое души, и его цвет резко отличается от всех остальных цветов, у него своя жизнь. Над огнем, в котле, варится гоми, густой пар поднимается кверху, навевая раздумья. За окном косо падают мелкие снежинки, кажется, снег никогда не перестанет, а что если ему не будет конца? Что дальше? Помню, как приутихли голоса домашних, как понизились их голоса в ту зимнюю пору, пору большого снегопада; снег все шел и шел и не хотел переставать, не собирался; мы почти не покидали дома, вставали с постели, одевались как на какой-нибудь выход и молча присаживались на края кроватей.

\* \* \*

Война по слухам подходила к концу, но траурных вывесок на домах, знаков, оповещающих о гибели солдата, становилось все больше. В комнатах не вернувшихся с войны, спальнях, на деревянных кроватях, были разложены их одежды, и это также было знаком, и знаком было молчание: ничего не говорилось о не вернувшемся, ни худого, ни доброго, не клялись его именем и не вспоминали о нем, словно были на него обижены. Все это на виду, при людях, конечно же, не то какая сила могла заставить вычеркнуть из памяти родного человека. Слова, по поверью, могли повредить солдату. Так было до конца войны. Потом-то вспоминали, потом-то произносили тосты в их честь, вспоминали и в нашей большой семье Гуту и Кочию — первый приходился мне родным дядей, второй нет, но

это не имело значения, вспоминали обоих одинаково, с одинаковым почтением и любовью...

Незадолго до окончания войны родился Джабу. Мать переехала в Укири. Там она благодаря способностям к счету устроилась продавщицей в продуктовом магазине и вышла замуж за Кегву Саная, плотника, подавшегося в наши края из города на заработки. Джабу, только мать отняла его от груди, отдали на воспитание неким Джанашиа, бездетным и состоятельным мужу и жене; вскоре решила и моя участь. Мать с бабушкой ночь напролет судили-рядили, ахали-охали, плакали-причитали, пока дядя Амидо не поднялся с постели и не погасил свечу у них перед носом. Тут обе умолкли, просидели ночь, набрав в рот воды, а наутро отвели меня к женщине, у которой я потом рос, но через пару лет я вновь очутился в Куми, видно, материнское сердце не вытерпело или совесть замучила, так или иначе, меня забрали обратно и отправили в Куми... Отчим, точно знаю, не хотел меня отпускать, но так же хорошо знаю, чего хотела мать. И я снова очутился в Куми.

Время идет, не стоит на месте; Амидо повзрослел, переселился в город, стал учиться на счетовода, говорили — на «счетовода-бухгалтера», неважно; школа счетоводов была двухлетней, и ему предстояло два года жить в городе...

\* \* \*

Дед Свимо вставал раньше всех и обходил усадьбу: заглядывал в хлев, приоткрывал двери амбара, давая дорогу солнцу, — кукуруза влажнела от сырости ночи и по утрам, когда на нее находило солнце, белый пар поднимался над амбаром, белый пар с примесью золотой пыльцы на темно-коричневом фоне пожухлых досок. Амбар дышал белым паром с примесью золотой пыльцы. Потом старик заходил в марани выпить непременною рюмку водки (она всегда стояла на бочке), без этого он ни в поле не шел, ни к мотыге не притрагивался, ни к сохе не приближался, ни корзину не сплетал, ни виноградник не опрыскивал, не полол и кольев не подставлял побегам фасоли. Он сни-

---

Мурман Джгубуриа. В тени грушевого дерева...



мал с полки оплетенную бутылку и ставил на бочку, словно усаживал ребенка, и какое-то особое, умиротворенное настроение овладевало им, это чувствовалось по тому, как он правой рукой наклонял бутылку, левой направляя к ней рюмку, до одного ему известного предела, и трудно сказать, рюмка направлялась к бутылки или бутылка к рюмке, до того соизмерены и согласованы были движения; жидкость забулькает раз, и капли не прольется, наполнится рюмка, старик залпом осушит ее, закупорит бутылку, поставит на полку, а рюмка останется стоять там, где стояла. И будут смотреть бутылку и рюмку друг на друга до следующего утра. Дед выходит из марани и натачивает топор или направляет косу, и мы просыпаемся. Бывало, ему самому приходилось будить: «Уж мир нажился, расцвел, теперь хочешь поднимайся, хочешь нет...» А куда мне, собственно, спешить, чем заниматься спозаранку? Я не понимал, почему он ворчит, ворча идет со двора с топором под мышкой, или косою через плечо, или с уздечкой в руке (Малию на ночь оставляли в поле) и ворча возвращается вскоре с лошадей на поводу. Ее туго набитое брюхо напоминает большущий мяч; ночное приволье взбадривало лошадь, глаза у нее были влажные и довольные, а мне о том, чтобы ночью остаться во дворе, и думать не приходилось: стоило задержаться у соседей, и то сердились, и у бабушки появлялся повод стращать каким-то «ткаш-мапой», «ночью лунной, темной, как душа басурманина», и «страшным глазом» ночи («не приведи бог заприметит ребенка, в эту пору дети дома сидеть должны»). Я не понимал смысла этих слов, должно быть, и сама бабушка уже не понимала, столь почтительно и благоговейно их произносила... что-то нарушилось в ее общении с природой, стало неестественным и принужденным.

...Соседскую девочку Цицу Дарандиа попросили принести воду кому-то из соседей. Цицу вышла из кухни с небольшим кувшином в руке и направилась к балкону дома. Гость протянул стакан, Цицу наклонила кувшин и застыла на месте. «О, господи!» — вырвалось у нее, она прикусила указательный палец левой руки, быстро повернулась и побежала к колодцу. О чем позабыла Цицу Дарандиа — о том, что гость хочет

пить, или о колодце, не знаю, но о чем-то позабыла наверняка, и нарушилась гармония: Цицу знала, что гость хочет пить и что в руках у нее кувшин и бы в нем была вода, она хотя бы всплеском дала о себе знать; если бы в кувшине была вода, он был бы чуть тяжелее, если бы Цицу Дарандиа вспомнила о колодце, она бы не стала подниматься на балкон с пустым кувшином, какой это леший ее угораздил? Никто, впрочем, не удивился, одни усмехнулись, другие промолчали, третьи продолжили свой разговор, только дед Свимо выглядел несколько встревоженным — «не нарочно ли такое вытворила?» Нет, конечно же, все это чувствовали и понимали, но старик помрачнел и балагурить с ним не собирались, повода к шуткам над собой он никому никогда не давал — ни гостям, ни, тем более, домочадцам.

...Стояли тяжелые времена. Война кончилась, но люди испытывали нужду. Трудно сказать, кого в чем винил старик, от кого что требовал, к кому как относился, трудно сказать. Неизвестно, почему он обиделся на всех нас, когда его сын Але в начале зимы срубил в орешнике буквое дерево. Але взял отцовский топор и молча направился к орешнику в конце двора, и долго потом слышался стук топора. Он срубил дерево, приволок его домой и положил сушить у огня. Сколько было разговоров об этом дереве, и каких только не было разговоров. Это, впрочем, не имеет значения, пускай и слова сказано не было, — дед Свимо обиделся и обиделся на всех нас, не то чтобы ни с кем не разговаривал, но что-то изменилось в его отношении к нам, бог весть что. Бук трещал в очаге, не шипел вроде ольхи (она в изобилии валялась у забора), трещал громко и четко, и треск его долго сопровождал старика, вышедшего из дому. Это был единственный бук в орешнике в конце двора.

Але был тогда холост и обзаводиться семьей не собирался, Амидо учился в городе; Гута, хотя война кончилась, с фронта не возвращался, и Але оставался единственной надеждой старого отца.

Я любил деда Свимо сыновней любовью с той лишь разницей, что всегда был более почтителен к не-

---

Мурман Джгубуриа. В тени грушевого дерева...



му, чем родные сыновья, как оно, собственно, и должно было быть, хотя надо сказать, сам он никого из нас не выделял, не я один это чувствовал, его забота была заботой доподлинного столпа семьи, лишенная баловства и ласк («Не ласкай дитя, щенка—никчемными вырастут»), но исполненная пристального и молчаливого внимания, молчаливого, как само время, когда воевали, а не говорили, что война, что нужда (в мирное время об этом говорят куда больше), тогда воевали и работали, работал, разумеется, и дед Свимо.

\* \* \*

Поле за усадьбой зеленело недолго, недолго трава-мурава выносила по весне изумруд из земли. Каждой новой весной ее распахивали, бороновали, засеивали, мотыжили, собирали урожай, только никак не отменный. Когда на других полях готовились срезать кукурузу, здесь ее пололи всего лишь вторично, так требовала почва, и ее распахивали. Тем полем шел к нам Гега Дарандиа, однофамилец деда, приходил погостить или помочь по хозяйству, или по каким-нибудь личным делам. Дед, заметив человека, приближающегося к дому, вставал со скамьи, надевал полотняную шапку, просовывал левую руку за ремень и, размахивая правой, направлялся навстречу. Я, исполненный любопытства, хватал его за подол рубахи и вместе с ним приближался к калитке. Дед никогда не протягивал Геге руки, молча снимал шапку, и мы втроем направлялись к кухне, возле кухни хозяин, о чем-то вспомнив, брал гостя под руку и по мандариновой аллее вел его в марани. Предложив вино двух сортов и получив ответ на вопрос, какое нравится больше, хозяин с гостем усаживались на лавку. Солнце опускалось в море, удлинялись тени деревьев, наступали сумерки, и гость вставал, вставал и хозяин (разговор не был окончен, правда, еще будет сказано несколько слов, но на лавку больше не сядут).

Гега Дарандиа идет по лужайке, за ним — дед Свимо, за дедом — я; к калитке подходим все трое, впрочем гость по-прежнему чуть впереди. Он уходит, мы остаемся, стоим у ворот и смотрим: по зеленому полю медленно, вперевалку бредет человек, он живет за полем, Гега Дарандиа, и хозяин будет взглядом

провождать гостя, пока его тень не скроется из глаз. Гостеприимство людей нашего края известно. В сущности, гость везде есть гость, везде «от бога» и всюду стараются принять его поласковой и устроить поудобней, но гостеприимство в Куми проявляется самым удивительным и неожиданным образом. Помню, как дед старался пересадить (и добился своего) какого-то мужчину с одного места на другое, потому что оттуда было удобней любоваться закатом солнца; помню еще двух женщин в черном и парня, который сидел, опираясь локтем левой руки о край стола (правая опущена вниз), бабушка незаметно занесла стул, остановилась поблизости, и когда, разговаривая, парень поднял руку, осторожно пододвинула стул к тому месту, куда должна была рука опуститься, тем самым как бы создавая ей условия для отдыха. В гости к нам приходили люди самые разные. Приходил, как сказано, Гега Дарандиа, что жил по ту сторону большого поля, приходил Чаху Дарандиа, наш позаборный сосед, которого дед называл не иначе как «свет-соседом» и «светозарным». Так говорили у нас о людях особенно уважаемых и близких, и отнюдь не из любви к красному словцу — и жили люди в деревне поодаль друг от друга, едва успевали справляться с полевыми работами, огонь в очаге гас зачастую, и человек шел к соседу за горящими угольями, и приносил от него огонь — свет и тепло. В кои веки раз жаловал Серафи Дарандиа, садился на балконе, заложив ногу за ногу, снимал шапку, клал ее на колени и сидел, молча разглядывая окрестности. Вина он не пил, ни разу у нас не отобедал, воды и то не попросил, восседал неподвижно, молча, не нуждаясь во внимании хозяев, но дед сидел рядом, пока гость не выражал желания уйти.

Порой появлялся «вестник скорби», как правило, издалека. Он шел сообщить родственникам или близким семьи о постигшем ее горе, дед выспрашивал, кто он и откуда родом, желал ему ходить впредь с доброю вестью, тяжело вздыхал, вел в дом угощать и провожал точно так же, как Гегу, Серафи и прочих. Бабушка Луца с куда большим огорчением встречала

---

Мурман Джгубурна. В тени грушевого дерева...



такого рода людей: вскрикнет громко, вмиг соберет вокруг изреженное соседство и, негромко причитая, оповестит о несчастье. Неподдельная скорбь овладевала всеми. Женщины плакали, мужчины молчали, время от времени тяжко вздыхая. Но бывало, вовсе никто не узнавал о приходе вестника: это если покойник оказывался просто-напросто однофамильцем из какого-нибудь дальнего села. Люди оплакивают смерть родного человека, оставаясь равнодушными к факту смерти вообще; умер и умер — жизнь потекла своим чередом. Другое — смерть близкого. Только о ней узнавали, начинались большие приготовления; дед одевал выходную одежду, бабушка долго умывалась, дядя Але тщательно брил бороду, и все отправлялись на плач в молельню для траурных церемоний. Долгая дорога утомляла, и меня до сумерек оставляли в доме под присмотром тетушки Пачу, жены Чаху Дарандиа, но однажды она ушла вместе с остальными по случаю кончины близкого ее родственника, и я остался совершенно один в большущей усадьбе. Солнце скрывалось за рядами кудлатых акаций, день угасал. Я сидел на ступеньках и без конца переводил взгляд с ворот на небо и обратно. Небо темнело, и с темнотой терялась надежда на скорое возвращение родных; неожиданно я увидел себя со стороны: мальчик, съезжившись, сидит на ступеньках лестницы огромного дома. Я пощупал каменные ступеньки, они были холодны, и холод вернул меня к реальности. Я сидел на лестнице нашего дома, в этом не могло быть сомнения, ступенек было ровно одиннадцать, как обычно. Одиннадцать ступенек, не больше и не меньше, и груша посередине двора, и ворота в конце, и в небе вот-вот засверкает наша звезда, которая сверкает только над нашим домом. Молчание и неподвижность царили вокруг, и, успокоив себя, что скоро все вернется, я встал, собираясь войти в комнату, но уже было поздно — тьма поселилась в доме, словно кто-то нарочно втолкнул туда тьму, во дворе было куда светлее.

Наконец у Чаху Дарандиа зажегся свет, единственное желание овладело мной — как-нибудь очутиться там, но я и позвать не решался: что если кто-нибудь выскочит и схватит меня?.. Я сполз на ступеньку ниже, потом еще на ступеньку, еще на одну и таким

образом оказался на земле. Как дальше? Идти к воротам или к изгороди дяди Чаху? Что ближе? И тут я увидел свет. Свет приближался. Дядя Чаху подошел к изгороди.

\* \* \*

Дед Свимо въезжал во двор верхом, задевая растопыренными ногами столбы узких ворот (спустя несколько лет я случайно заметил, что столбы выщерблены — это следы стремян и обуви), ворота напоминают мне Малию, годы детства, деда Свимо, гостей и праздники, в особенности женитьбу дяди Але, когда во двор попарно въезжали дружки и их свита, конь за конем на полном скаку, стучая столбы стременами, тяжелыми коваными сапогами, чувяками; въезжали именно через тесную калитку, хотя ворота распахнуты были настежь; въезжали и выезжали, развеселившиеся, разгоряченные вином, неслись во весь опор, показывая свою удаль и молодечество, красуясь перед хозяевами. Не так-то просто пройти узкую калитку тем же аллюром, что и широкое поле, в придачу настроение от сознания близости дома жениха менялось, менялась дорога — после узких проселков внезапно раскрывалась ширь поля; лошади, почуяв простор, пускались вскачь, лошадь и всадник становились едины, было в этом, видимо, не одно лихое удальство, стремление показать себя, но черты какого-то древнего ритуала, никому теперь не понятного, истертого круговращением времен...

\* \* \*

Я счастлив, когда идет дождь. Я не хочу и не могу спать. Дождь шелестит, и ручьи поют, стекая с крыши, с веселым шумом сбегают по стене, капли стучат по доскам балкона. Волшебная ночь правит миром. Вспоминается мать и икона богородицы с младенцем; икона озарена светом, и я молю позволить ночи длиться бесконечно, но и эту ночь, как все остальные, сменяет рассвет; иная радость селится в сердце — радость явления солнца.

Солнце плывет по небу, и белый туман движется

---

Мурман Джгубуриа. В тени грушевого дерева...



перед ним, как отары перед пастушкой. Девушка, улыбаясь, идет по зеленому лугу, далеко позади белоснежной отары, овцы останавливаются, щиплют траву, бредаются, движутся снова.

Медленно падают с листьев капли вчерашнего дождя; кажется, будто деревья плачут слезами радости, блестящие капли падают с крыши, и слезами радости плачет дом, и маленькая Цицу Дарандиа гонит гусей к воде...

\* \* \*

В Укири солнце всходило из-за дома, в Куми лучи его ложились на балкон и лишь под вечер заходили за дом. Я и сейчас не знаю, где у дома восточная сторона, где западная, впрочем, порой в этом нет никакой необходимости — и без того догадаешься, почувствуешь солнце: либо догадается разум, либо почувствует тело. Проснешься где-нибудь вдали от родного дома, в незнакомой деревне, куда на день-другой приехал погостить, встаешь, чуть забрезжит рассвет, полусонный, протираешь глаза и в сумраке комнаты по какому-то наитию знаешь, где находится восток. Вдали, на горизонте, приподнявшееся солнце набирается сил, если погоды ясные, если ведро и туман не заволакивает рассветного солнца. И зимним утром, похожим на поздний вечер, выйдя из дому, идешь в ту сторону, в какую собирался, но в туманном городе, где я нынче живу, удивительно трудно распознать, где восток и где запад, даже если спросят, не сумеешь ответить — не знаешь и все тут.

...Помню, я увидел перед домом цветущую сирень. Пора была вечерняя. Куст сирени и утром стоял на этом месте, нынешним утром, и утром вчерашним и позавчерашним, стоял годами, а я увидел его впервые. Такое можно ощутить не раз. Будешь один в пути или в доме, и вокруг тебя все будет таким, чтобы ты почувствовал, сколько времени осталось жить, и испугаешься, что догадка может оказаться правдой. А потом позабудешь, перестанешь раздумывать над подобного рода пустяками и не будешь о них вспоминать больше, но каким-то образом возникнет схожая ситуация — и вновь испытаешь то, что уже испытал од-

нажды, без прежней, правда, четкости и убедительности, но схожесть в чем-то будет несомненно.

Я не хочу сказать, что в любую туманную погоду непременно пойдешь в сторону восхода солнца, однако в большинстве случаев бывает именно так. Ведь и зимой мы просыпаемся во время, назначенное привычкой, в какое время просыпались прежде, то есть в течение всей весны и всего лета; я не говорю, что почувствуешь блеск утра, нет, но проснешься во время, назначенное привычкой просыпаться.

В эту минуту, беспроглядно темной ночью, иссиня-черной ночью наших краев, я вспоминаю яблоко, упавшее с дерева, не само яблоко, но звук, который оно издает при падении на землю. Я лежу в постели, пока рано, темно еще, ночь на дворе, но наши только что покинули балкон и разошлись. Чаху Дарандиа перешагнув пригнувшуюся к земле узкую полосу изгороди, бабушка Луца с крохотной коптилкой отправилась на кухню, там по очереди они вымыли ноги и поднялись в дом; дед Свимо, когда бы стояли теплые летние ночи, заснул бы там же, на кухне, улегся бы на длинную деревянную скамью и захрапел, но ночи прохладны и сыры, дело идет к осени, и дед Свимо ложится в комнате. И вдруг я слышу: глухо стукнув, упало на землю яблоко, и вновь наступила тишина. Земля притянула яблоко...

Я просыпался, видел, что на дворе по-прежнему ночь, и снова зарывался лицом в подушку, и постель становилась теплее и притягательней: растянешься во всю длину и медленно впадаешь в неизъяснимо приятную дремоту. А потом взойдет солнце и заблестит расцветченный мир. Дед Свимо уже на ногах, бабушка Луца хлопочет на кухне, я раскрываю глаза и вижу, как тень от тутовых деревьев падает на балкон. Они растут вдоль забора, и длинная утренняя тень их почти достигает моей постели. Стоит ранняя весна, и деревья только-только обросли листьями, они зелено-прозрачны, нежны и слабы. Если взглядеться, листок излучает какой-то особенный, свой собственный белый свет, похожий на свет облаков в ясный день, а распростертая в комнате тень от тутового дерева блекла

---

Мурман Джгубуриа. В тени грушевого дерева...



и бесцветна и похожа на тишину, не на цвет, не на какой-либо предмет, не на живое существо — на тишину; она растет, разрастается и становится движной, как плавни, и, лежа в постели, я слышу из тишины, как гонит коз на пастбище младший сын Чаху Дарандиа: отрывистое «Аца! Аца!» доносится из тишины, и я знаю, дедушка Свимо вот-вот крикнет: «Поднялся бы, что ли!»

«Встану быстренько, — думаю, — встану и выйду во двор с черного хода, иначе непременно наткнусь на деда, он наверняка стоит где-нибудь перед домом, натачивает мотыгу или топор, или подрезает ветви туты, и, конечно же, мне не укрыться от его глаза, может, он мне и слова не скажет, но лучше не попадаться на глаза, спокойней».

Я выхожу из комнаты босиком, доски балкона прохладны, но с постели этого не чувствуется — тело не протрезвело. Медленно возникает ощущение холода (слегка сжимаются пальцы ног) и сразу проходит. Человек всякий раз сызнова привыкает к миру.

Пар вьется над землей; листья травы режут ступни, ноги мокнут в росе, и они горят; дед направляет зубья бороны, перевернутой вверх дном, точит напильником, пробует острия большим пальцем и снова берется за напильник. Приусадебный участок распахан, дед запрягает волов в борону. На борону для груза навалены булыжники и неизвестно откуда попавший сюда рельс метра полтора длиной. Я стою на бороне, прутом подгоняя ленивых волов (вначале они шли быстро, но чем глубже уходили в землю зубья бороны, тем медленней становился их шаг). Дед держится за ярмо и кругами ведет волов по полю...

\* \* \*

В гостиной был камин. Над каминной полкой вырезана надпись «1887. Свимо Дарандиа». Деда никто в деревне Свимоном не называл, и имя, вырезанное на стене над каминной полкой, казалось мне именем постороннего человека. Бабушка спрашивала, кто строил камин, но ответа так и не получила. «Пришелец, наверное», — думал я. В Куми, разумеется, был свой печник (он и сейчас есть), но дед по ему одному известной причине доверил постройку пришель-

цу, впрочем, я быстро забыл и о печнике, искажившем имя деда, и о самом камине, хотя зимой подолгу за-  
сизивался именно перед камином. Часто и громко трещали дрова, весело горел огонь. Окно смотрело на грушевое дерево. Растопыренные ветви теребил ветер; между ветвями трепыхалась цвель.

....Я пытаюсь натянуть принесенные дедом сапоги. «Попробуй еще разок», — говорит он. Дядя Але сидит рядом, горя желанием, чтобы я как-нибудь втиснул ноги в сапоги. «Тесноваты? — спрашивает дед. — Не утаивай, если жмут, в воскресенье снова иду на рынок, принесу размером побольше». До воскресенья... Понедельник, вторник, среда, четверг... словом, целая неделя, старик спозаранку отправится на рынок и допоздна не вернется... «Нет, — отвечаю, — не жмут», и сапоги мои!.. Я хожу в сапогах второй и третий день, и знаю, что теперь, если даже признаться, дед поменять не возьмет, и потом сегодня среда, и я, как пить дать, не выдержу — одену непременно до воскресенья, порядком сношу — о каком обмене речь, вот и не говорю, что жмут. Вернувшись из школы, я иду к орешнику; возле него протекает ручеек, какие-нибудь два года назад он казался мне рекой, которая впадает в море. Корабли не ходили по ней, но, по словам деда, прежде в этой взбаламученной воде стояла лодка, взмахнешь веслом — и противоположный берег, где в прибрежной роще дед рубил деревья, заготавливал сколько требуется, складывал и оставлял в роще до наступления зимы, а затем окольной, довольно длинной дорогой привозил на арбе домой. Лодчонка служила ему чем-то вроде моста. Я ее не видел. Когда ближние леса повырубали, обмелел и ручей, и дед теперь переходил его вброд, но в пору частых дождей вода прибывала и приходилось идти в поле через усадьбу Серафи Дарандиа.

...В орешнике я стащил с себя сапоги, с трудом распрямил пальцы, долго на них дышал, стараясь унять боль, и, почувствовав облегчение, натянул снова. Боль исчезла, и сапоги вроде больше не жали, и решительным шагом я вернулся домой и на глазах у деда снял их без труда. Обувь разносилась и заодно сносилась, хотя жаловаться не приходится — худо-бедно, я проносил са-

---

Мурман Джгубурна. В тени грушевого дерева...



поги две зимы. Лет через десять, будучи в гостях у деда Свимо, в конце кукурузного поля я набрел на один сапог, он валялся под изгородью, отделяющей поле от бамбуковой рощи. Миновав забор, я остановился у алычового дерева, узнал ветку, с которой некогда упал, потом зашел в марани, из марани в конюшню... Малии уже не было. Многое изменилось, окрестности казались обнищальными и обесцвеченными, как и сама жизнь. Цицу Дарандиа, сказали, выходит замуж, Дзабу Дарандиа вышла замуж и прочее!.. Дед Свимо сильно изменился внешне, бабушка Луца поседела совершенно и уже не разводила шелковичных червей, Але женился еще в пору моего детства, и его жена, Ну ну, приняла и угощала меня, как принимают и угощают гостя. У них было трое детей. Амидо жил и работал в городе.

\* \* \*

Навеса, который местные жители называли гренафбрикой, тогда я еще не видел. Вся наша семья: дед Свимо и бабушка Луца, Але и Ну ну и соседка Пачу Дарандиа (вскоре через перелаз шагнет Чаху Дарандиа, воткнет топор в валяющийся там же пень и присоединится к нам) собрались на балконе, постоянном, как кухня зимой, месте семейных разговоров и совещаний. Я выношу стул. Чаху садится, и прерванная на миг беседа (пока Чаху поднимался по лестнице и устраивался на стуле поудобней) продолжает течь естественно и непринужденно. Тут я опять вспомнил об отношении деда к гостям, отношении, исполненном особого почтения; удивительно, право, кто-кто, а Чаху заходил чуть ли не каждый божий день, и старик всегда участливо осведомлялся о его самочувствии и положении дел; что, скажите на милость, могло произойти особенного за несколько часов!? Чаху, возвратившись с работы, хлопотал у себя в доме, со двора доносились размеренный стук топора и сердитые окрики в адрес кого-нибудь из домашних; точно так же голоса из нашего дома достигали уха Чаху, и он, когда была надобность, выждав, пока сосед освободится от дел и наступит тишина, посылал свою дочь Цицу с каким-нибудь поручением: «Что отец поручил, крошка?» — «Извести, говорит, не хватило», — «Не хватило малости, верно?» — заключал дед Свимо, как бы давая оценку хозяйственным способностям со-



седа, и наполнял известью небольшой жестяной короб... «Закрой за собой дверь», — сказал мне дядя Чаху, присаживаясь на стул. Вечерело, ночи нельзя было заглядывать в спальные комнаты, кухня — другое: когда с наступлением темноты ее двери оставались приоткрытыми, их не закрывали — яркий огонь горел в очаге и жгучие глаза его испепеляли демона ночи. Я пробрался на кухню с мыслью, что вскоре меня выпроводят, и, стараясь быть незамеченным, присел на табуретку за спиной бабушки, хоть от старика ничего не ускользает.

«Вымой ноги и отправляйся спать!» — скажет он мне вскоре, но пока дневной свет лежит перед кухней и месяц не выглядывает из-за хребта, я сижу и слушаю неторопливый разговор. На дворе апрель, крестьяне готовятся к полевым работам, поля расчищены от корней соломы; вдали, у Филимона Дарандиа, разожгли огонь, жгут сухие кукурузные стебли, дым от костра становится все гуще. «Сколько граммов у тебя получается?» — спрашивает Пачу Дарандиа у бабушки. Что ответить? Работы много. Надо вспахать поле, окопать чайные кусты. Шелковичный червь требует много времени и особого внимания, у шелковицы в эту пору листья тонкие, если утренней порой смотреть снизу с балкона, они похожи на вышивку в небе. Дядя Чаху молчит, он, глава семьи, считает, что женщина должна вести домашнее хозяйство, успевать готовить завтрак, обед и ужин, а не держать мужа на одном чае из-за каких-то там червяков.

«И вовсе не позволил бы ей разводить этих самых червей, Свимо, государь мой, — говорит Чаху, — да только никуда не денешься, они вроде, как его, абликации этих самых, никуда не денешься». И долго на балконе (меня уже прогнали оттуда) слышится неторопливый разговор; я лежу в постели с закрытыми глазами и слушаю...

Редкие звезды загораются в небе, луна поднимается над хребтом, ночь становится светлее... Во дворе Филимона Дарандиа погаснет дымное пламя, где-то коротко завоет собака, дед учтивейшим образом проводит

---

Мурман Джгубуриа. В тени грушевого дерева...



соседей до изреженной изгороди, наисердечнейше с ними попросається, словно провожает в дальнюю дорогу, и завершится еще одна ночь.

\* \* \*

Настали такие времена: появились воры, ходили по ночам из деревни в деревню, крали мелкую скотину, птицу, муку, кукурузу — продукты, словом. Одним утром дед увидел с балкона муку, рассыпанную по зеленой траве.

Мы подходим к кухне, осматривая каждый ее уголок. Глина, насыпанная у зазоров стены, разрыта. Кухня, как все постройки этого рода в наших краях, стоит прямо на земле без фундамента, и пол у нее земляной, прежде всего потому что трудно достать доски, и потом земля унимает жар очага, что посередине кухни, люди, которым каждый день и подолгу приходится возиться по хозяйству, не ощущают его, а когда дрова разгораются не в меру, пол поливают холодной водой, и находится на кухне какое-то время — все равно что сидеть на берегу реки жарким летним днем. Зимой, правда, стынет спина, но тепло каминного огня пропитывает насквозь и холод не ощутим, к тому же человек, замороженный, не может отвести от огня глаз, и даже положить новое полено на догорающее неохота. Мне это вовсе не трудно, но не знаю, понравится ли деду, — все, что ни делают другие, делают, в его глазах, неумело.

Через много лет, когда я приеду из Тбилиси и присяду рядом со стариком, он глубоко вздохнет. «Нет спасения, Миха, нет». Я смотрю на огонь в очаге и думаю, что старик не допускал мысли о посреднике между собой и природой, единственно правильным он полагал свое общение с ней и потому старался делать все сам: срубить дерево, принести его из лесу, уложить у огня на просушку и, главное, разжечь очаг. Он с неприязнью, словно это подавляло его человеческое достоинство, смотрел на трактор, который встрял между людьми и полем. Он всегда держал в руке топор и мотыгу, их рукоятки вытесаны были его рукой, его рукой была сплетена корзина, в которой он выносил из виноградника гроздь, с поля — кукурузу; лестница, приставленная к кукурузнику, сработана была его рукой; он

ходил в чувяках, им самим скроенных из кожи откор-  
мленной им свиньи, а в грязь — на деревянных ходу-  
лях, выточенных собственной рукой.

Новая жизнь наступала, но справиться со стари-  
ком было не так-то просто. Он жил своей жизнью, не  
старой и не новой — своей, свою арбу предпочитал ма-  
шине и исключительно ею вывозил с поля кукурузу.  
Однажды грузовик с кукурузой увяз в грязи величи-  
ной с лужу, в которой бы уместился здоровый буйвол,  
не больше. Ревел мотор, крутились колеса, выбрасы-  
вая в воздух комья грязи. Старик молча смотрел на  
хлопоты с машиной, смотрел долго, потом махнул ру-  
кой и отошел прочь. Упряжка буйволов вытащила ма-  
шину, груз до сельсовета довели, после этого дед ре-  
шительно отказался от всяческого транспорта, кроме  
аробного. Помню, как Свимо обиделся, когда увидел  
в роще моторную пилу; вначале он услышал звук, ко-  
торый довольно долго доносился со склона горы, но он  
не обращал на него внимания, верно приняв за рокот  
мотоцикла, потом насторожился, пошел на звук, и де-  
ло дошло до драки, ружья у него, естественно, при  
себе не было, и пока он бегал за ним домой, пиль-  
щик улизнул, предпочел не связываться. Думаю, он уд-  
рал, потому как не появлялся больше! Впрочем, я ушел  
в сторону (уже в который раз), начал рассказывать  
о кражах и сбился... Строение кухни было подкопано  
с угла, и проникнуть внутрь мог только человек невы-  
сокого роста.

— Ну-ка пролезь, — велел дед Свимо сыну.

Але не сумел этого сделать. Пролезть удалось  
мне.

— Ребенок совершенный, — удивленно пробормо-  
тал старик, разумея вора, и отошел. Воры забрали  
пару пудов кукурузной муки, несколько головок сы-  
ра и были таковы.

\* \* \*

Стоило бабушке Луце поставить кипятить воду  
для гоми, как появлялась Ната Дарандиа, присажива-  
лась на край стула и наблюдала за хлопотами хозяй-  
ки.

---

Мурман Джгубуриа. В тени грушевого дерева...



В камине горел огонь, в котле клокотало гоми. Ната Дарандиа неподвижно сидела на одном и том же месте, молча наблюдая за хозяйкой.

— Не могу я, Луца, оставаться, — говорила она вдруг, — дома гоми на огне, верно, уж и размять пора...

Потом случалось зайти на кухню мне, и тетушка Ната повторяла:

— Не могу я, родненький, оставаться, дома гоми на огне, верно, уж и размять пора...

Через некоторое время появлялся дядя Але.

— Пойду я, сынок Але, — говорит тетушка Ната, — дома гоми на огне, верно, уж и размять пора.

Тем временем вернется с работы дед Свимо, зайдет на кухню, повесит на гвоздь свою полотняную шапку, взглянет на котел с гоми и соберется выйти во двор, но тетушка Ната его опережает:

— Пойду я, государь мой, дома гоми на огне, верно, уж и размять пора.

— Куда спешишь, Ната, или случилось что? — скажет бабушка Луца, неприязненным взглядом провожая выходящего из кухни супруга.

Так бывало всегда: наша семья соберется на кухне, и тетушка Ната останется, а ее гоми будет вариться на огне в тесной кухоньке. Ни родных, ни близких у нее не было, одна-одинешенька доживала свой век в девках. Говорят, некогда, в ранней молодости, была она влюблена в какого-то дворянина, но перед самой помолвкой тот напился пьяным, упал с лошади и разбился; разве тетя Ната вышла бы после него замуж, нет, конечно, ни в коем случае, другого такого мужчину не отыскать было, вся деревня знала об этом, и, значит, все верно, значит, так оно и было, и она жила одна, но одиночества не любила и каждый день, наполнив карманы сладостями, заходила к нам и оставалась обедать. Одного я только не мог понять, почему она варит гоми у себя дома (это было так, вне всякого сомнения, язык не повернется сказать, что тетя Ната лгала). Ела она у нас горсточку какую-то; ставила перед собой самую маленькую миску, решительно отказавшись от тарелки, поправляла головной платок, потуже завязывала его худой белой рукой и принималась за еду: отломит кусочек, обмакнет в подливу и подносит к бескровным гу-

бам, ломтик скрывался за изгибом тонкой, слабой кисти и нельзя было понять, ест она или просто держит пищу у рта. Крохотная порция оставалась несъеденной. Тетя Ната аккуратно срезала ножом искромсанную пальцами часть, откладывала в сторону, клала нетронутый гоми в котел, дождавшись окончания обеда, вставала со стула, мыла пальцы, садилась на лавку под грушевым деревом и смотрела в сторону ворот. Солнце кончало полудневать, и воздух свежел. Ната Дарандиа вздыхала с облегчением и спрашивала, какое сегодня число, дни недели она знала, а числа всегда путала.

«Дорог, говорят, рынок по воскресеньям, сударь», — эти слова относились к деду Свимо. Ната Дарандиа никогда не обращалась к нему по имени и никого, кроме деда, сударем не называла.

\* \* \*

Груша, под которой мы обыкновенно сидели, плодоносила раз в два года, зато урожай бывал обильный, плодов хватило бы на всю деревню. Я часто упоминаю эту грушу, потому как жизнь всего нашего семейства в какой-то мере связана была с ней; здесь мы обедали летом, собирались поговорить, отдыхали, здесь спал дед, пока солнце не сходило с зенита.

Полдень. Старик дремлет, подложив руки под голову, рубаха на груди расстегнута, рядом на земле валяется шапка, должно быть упала — она, хотя и полотняная, служила ему подушкой. Прохлада постепенно становилась ощутимей, медленно раскрывались свернутые от жары тутовые листья, становились мягче, нежнее, словно приходили в себя. Дед просыпался, открывал глаза, спускал с лавки ноги, поднимал с земли шапку, встряхивал и без слов направлялся в поле или начинал хлопотать во дворе.

Помню всю нашу семью на длинной лавке под грушевым деревом и еще кого-то из соседей или родственников, или постороннего человека из соседней деревни, отряженного приглашать на свадьбу или на поминки: зашел человек передохнуть, дорога у него долгая, кто же его отпустит, не угостив вином, не поднеся воды; возможно, конечно, он не задержится, сошлетя на не-

---

Мурман Джгубуриа. В тени грушевого дерева...



хватку времени («Скольких людей обойти надо!»); уйдет, как пришел, никто его удержать не сможет, да и не станет — он послан по важному делу, ему не до отдыха в тени груши (если плоды зрелые) и не до отдыха в тени. Под тенью оставались мы, он уходил в солнце, шел своей дорогой. В дороге-то он помечтал бы об отдыхе в тени грушевого дерева, помечтал бы или подумал, устал бы и подумал, что нет ничего лучше, кроме как сидеть в тени, но ему было поручено важное дело и оставаться у нас он не мог, не имел права...

— Пачу Дарандиа получила уйму шелка.

— Что в этом удивительного? У них шелковицы предостаточно.

Беседа, казалось, поглотила Але. Он сидел, положив локти на стол и подпирая ладонями подбородок, прислушивался к разговору людей, которые (если судить по виду Але) были сведущи в делах на редкость и говорили об удивительных вещах, ну, например, что Кали Самушиа сняли. Кали Самушиа Але знать не знал и в глаза не видел, и это было заметно, но он все равно старался сохранять вид человека, крайне заинтересованного судьбой Кали Самушиа, как и строительством тунговых плантаций, этим «всенародным делом». Але ничуть не трогали тунговые плантации, но он продолжал сидеть и слушать, даже вставлял слово, когда какая-нибудь мыслишка приходила ему в голову. «Цыц, — тотчас цыкал на него дед Свимо, — только этого не доставало, чтобы ты теперь судил дела мира». Свет лампы пятном лежал на столе. Бабушка Луца мелкими шагами вышла, и из спальни комнаты донеслось ее ворчанье — бабушка стелила постель.

Приход в гости дядюшки Тэре для меня праздник: никто не велит отправляться мыть ноги и спать. Однако же страх меня не покидает, страх до утра пребывает со мной (в ту ночь я оставался в гостиной до самого утра, а ведь лучше было сразу сказать, что я останусь и гнать меня не собираются?).

...Несколько человек незнакомых мужчин расположились на лужайке перед домом, на вынесенных из гостиной полированных стульях. Только я зашел во двор, как один из них спрашивает: «Нашел?» «Нашел, — отвечаю, приблизившись. — Малия в прибрежной роще».

Помолчали. «Может, это и не Малия»,—сказал дед по-  
года. Я удивленно на него посмотрел, мне ли не узнать  
Малию, что это с дедом. В тот же вечер я понял, что  
следовало промолчать, вникнуть в смысл сказанного:  
«Может, это и не Малия». С того дня весь сентябрь ме-  
сяц мы не видели Малию—колхоз испытывал недоста-  
ток в гужевом транспорте и бригадир со своими людьми  
пришли забрать лошадь, но ведь я не знал, как отве-  
чать деду на его вопрос, как не знал, останусь или нет  
в ту ночь за столом до утра. Обрадовался или оби-  
делся старик, когда я сказал правду, о чем он думал,  
решил, что я смекну и не выдам, откажусь от своих  
слов? Бог весть.

\* \* \*

Я заходил в кладовую по поручению бабушки или  
по своей воле, в обоих случаях бабушка бывала дома,  
либо убирала, либо просто сидела перед зеркалом и  
пинцетом выщипывала брови, наводила красоту на лицо.  
Помню, однажды в соседней деревне на похоронах ка-  
кой-то усатый мужчина спросил, не мать ли она мне.  
Бабушка всегда ходила в черном и ее красивое молодое  
лицо не вязалось с траурной одеждой. «Бедняжка, —  
подумал, должно быть, мужчина, — в черном ходить в  
ее-то возрасте». А бабушка Луца? Она, конечно, замети-  
ла, что незнакомец остановился, нагнулся ко мне и о  
чем-то спросил, заметила и посмотрела в сторону мужа,  
который видеть ничего не видел, стоял в кругу знако-  
мых, чуждый, как в любой неродной деревне, делам этой  
деревни; и жены для него будто вовсе не существова-  
ло, и благодаря этому они, мужчина и женщина, могли  
почувствовать себя посвободней; зоркий глаз, глаз при-  
стальный, коего следовало бояться, перестал видеть, ис-  
чез словно; они и почувствовали бы себя раскованными,  
но времени было в обрез, его попросту не было, и все  
на этом кончилось.

В кладовой тьма, хоть глаз выколи:ходишь со  
двора, свет идет следом, обрывается, внезапно наступа-  
ет мгла. В доме иначе: поднимаешься по лестнице, прой-  
дешь балкон, зайдешь в гостиную (солнце к этому вре-

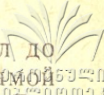
---

Мурман Джгубуриа. В тени грушевого дерева...



мени клонится к западу). в гостиной полумрак, откроешь дверь в следующую комнату и видишь — каждый ее уголок озарен светом, из мрака неожиданно вырывается в солнце, это мгновение кажется мне чрезвычайно важным. Когда ты один в доме, царит полный покой и ты, никого не ожидая встретить, встречаешь свет, он представляется живым существом, и ты уже не один, и какое-то невыразимое чувство сопровождает тебя... Тьма кладовой медленно светлеет, вычерчивается сито, не сито — мука в кадке, она, белая, раньше всех появляется из тьмы, потом само сито и мешок на гвозде, бочка для хранения сыра и ступка... и понимаешь, что не темно, а светло было в кладовой, всегда было светло, но в который раз ты бы туда ни входил, все повторится, и будет странно, если кто-нибудь войдет в миг, когда ты увидел свет, прозрел, когда для тебя все стало на свои места, это будет очень странно и жутко — ты увидишь человека, вошедшего во мрак из света, беспомощного человека, мужчину или женщину, неважно, бабушку Луца или деда Свимо, хотя дед догадался бы — кто-то находится в кладовой, а вот на похоронах в соседней деревне он стоял во мраке, в тени, в полном неведении. Когда бы написать книгу об одном только мгновении, когда он и она (мужчина и бабушка Луца) посмотрели друг на друга, когда бы написать книгу о переживаниях, возникших в глубинах их душ, едва ли можно было бы исчерпать то мгновение, едва ли эта книга что-либо объяснила или убедила бы читателя в значительности происшедшего! Это мгновение идет от сотворения мира, идут две мысли (или два человека), которые непременно должны встретиться. Это должно было произойти: в соседней деревне должен умереть человек, мы все к этому времени должны быть живы и присутствовать на похоронах, стоять там, где стояли, как стояли, однако ведь никто не знает пути и условий возникновения этого мгновения? Но если, скажем, оно возникло, разве не подчинится ему всякий, разве не все уместятся в нем? Потому я и говорю, возможно Луца всю жизнь изменяла мужу.

Поздней я понял, что тот случайный взгляд был отмщением деду. По деревне ходил слух, смутный и осторожный днем, он ширился к вечеру, расцветал, об-



растал бог весть какими подробностями (он дошел до меня, вероятно, от соседей, потому как я с этой самой Агафьей не был знаком и никогда ее не видел). Бабушка называла ее «Агашкой-пустяшкой» и растирала землю носком ботинка, разумея полную ничтожность Агафьи в подлунном мире... Возможно. Однако неизвестно, когда именно дед Свимо встречался со своей Агафьей. День-деньской он работал в поле, винограднике или хлопотал во дворе по хозяйству и, сколько помню, из дому ночами не отлучался. Бабушка перед сном приносила сверкающий таз, наполняя его горячей водой, дед опускал в воду ноги и я, присев на корточки, усердно их мыл. Над головой деда, на полке, стояла коптилка, от коптилки полукругом исходил свет; расслабленные руки лежали на коленях, тишина стояла в кухне, нарушаемая порой негромким всплеском воды...

Вот я и думаю, что взгляд бабушки в сторону постороннего мужчины был ее мезью за некую Агафью. Может, она в придачу решила на похоронах, что Агафья где-то рядом; она вполне могла здесь находиться, хотя, по слухам, жила в другой, близкой к нашей, деревне. Прошло время, я позабыл об этом случае, верно, и бабушка Луца уже его не помнила, а дед Свимо остался обманутым, тут ничего не скажешь, обманутый есть обманутый, это яснее ясного. Миг тот угас в памяти, несяк, улетучился и баста, о нем и не вспомнил бы, но однажды в середине знойного лета заявился к нам в гости незнакомый мужчина средних лет; он вошел во двор, присел на лавку под грушей, снял шапку, провел рукой по аккуратно подправленным усам и спросил, «скоро ли пожалует досточтимый Свимо». Бабушка ответила, что он вот-вот должен подняться с поля (поле располагалось внизу, у пойменной рощи), гость ничего не сказал и, заложив ногу за ногу, принялся ждать. Сидел он долго и неподвижно, пока ветерок с рощи не сбросил с дерева плод. Груша шлепнулась на землю. Мужчина встал, поднял ее, потер ладонью, вытащил из кармана перочинный ножик, раскрыл и неторопливо очистил грушу. «Отвезу в Краснодар», — сказал он деду, когда тот вернулся. Они договорились было, но дед заупрямился, сказал, что не годится — испортится в до-

---

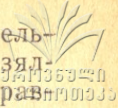
Мурман Джгубурна. В тени грушевого дерева...



роге, гость отмахивался, старик стоял на своем: «Не могу отдать для продажи в Краснодар, вези, если хочешь, на укирский рынок»; «Вам-то не все равно, куда отвезу, — возражал торговец, — мы свое дело сделаем, договоримся, а там я сам знаю» (чудак, однако же, что ему стоило согласиться хотя бы для виду, нет—в Краснодар, говорит, и точка). Дед отказался наотрез, тем переговоры и окончились; торговец ушел, пообещав зайти на будущей неделе, но больше не появлялся. «Торговцы народ лживый», — сказал дед Свимо таким тоном, трудно было понять, чему он больше радовался: тому, что торговец не сдержал обещание, или тому, что высказал истину — торговцы лживый народ. Но до того, пока дед вернулся с поля и встретился с гостем, прошло довольно много времени, гость попросил воды, я побежал к колодцу, достал ведро с водой и наполнил кувшин, бабушка Луца вынесла из дому тонкий, красивый стакан на маленьком блюдце с двумя золотыми камешками и цветком посередине, сама налила воду (обыкновенно это делал я), налила как-то по-особенному, не буднично, и у меня промелькнуло в мыслях, что торговец фруктами напомнил ей мужчину на похоронах; мелькнула и тут же исчезла.

\* \* \*

Между тем дядя Амидо завершил учебу в школе счетоводов и, как подобает «ученому человеку», поселился в городе. Я заканчивал семилетку. Большинство ребят моего поколения по окончании ее уходило из школы и брались за какое-нибудь ремесло, становились мастеровыми, учениками шоферов, колхозниками. Дед Свимо пропадал в колхозном поле и не мог за мной присматривать, бабушке Луце это и вовсе было не по силам, Але обзавелся семьей, молодые ждали ребенка, и каждодневные хлопоты связывали его по рукам и ногам. Таким образом, я оказался предоставленным самому себе и мог поступать, как заблагорассудится. Ничего нельзя предусмотреть, порой и в мыслях не бывает того, что должно произойти, а произойдет непременно, и потом все прикладывается одно к другому, как в случае на сельской дороге. Она, эта дорога, пересекала большое поле и, обрываясь у шоссе, тянулась до небольшой усадьбы в центре деревни. Возле усадебных



ворот стоял чей-то велосипед, его хозяин был в сельмаге. Я, не оглядываясь, подошел к велосипеду и взялся за руль, словно проверял (на самом деле приносивался). Пускай, думаю, прохожие видят меня с велосипедом, решат, что он мой, я временно его сюда поставил, а теперь отправлюсь дальше... Сажусь на собственный велосипед и еду по дороге из Цкариши в Укири и дальше по улице, где в небольшом дощатом доме на сваях живет моя мать. Она выйдет на балкон, затем появится отчим, они, конечно, тотчас догадаются, что велосипед не мой и я его не одалживал, догадаются, но вида не подадут.

...«Хороший велосипед», — скажет отчим, мать промолчит, весь вечер будет задумчива. Подойдет время ужинать. Нас четверо: мать, отчим, я и сестренка Маквала. Я остаюсь ночевать в Укири. Новая постель, говорят в народе, навеивает новые сны. Я возвращаю велосипед владельцу, в школу он об этом не заявляет, и на этом все кончается.

Явь, однако же, оказалась иной: бедняжка мать, только уложила меня в постель, глухой темной ночью спустилась с соседкой в Куми, здесь к ним присоединилась бабушка Луца, и все трое заявили к хозяину велосипеда. Тот пришел в ярость неопишемую, задохнулся от гнева: я, говорит, нос ему расквашу, дух вышибу, при чем тут школа, я, говорит, ни в какую школу идти не собираюсь и не пойду, и без того зол на тамошнего кретина директора; он хороший парень (это про меня), знаю, и велосипеда достоин, вот и купите ему мой велосипед, а мне — новый. Вот так-то. И повернули все трое обратно. Сперва отвели бабушку домой, дед Свимо спал, ничего не слышал и будить его не стали. Перед самым рассветом вернулись в Укири. Наутро мы с матерью пришли в цкаришскую школу; велосипед продали, добавили денег и отдали их тому типу, который накануне днем вошел в сельмаг за покупками. Не знаю, купил ли он на эти деньги велосипед, не интересовался, но история обросла крыльями, и с того дня все изменилось: я больше не был тем маленьким Миха, как меня знали до сих пор, стал совершенно иным человеком, словно и годами старше, соседи смотрели на

---

Мурман Джгубуриа. В тени грушевого дерева...



меня иными глазами и по-иному со мной обращались. Только для деда Свимо не изменилось ничего.

«Быстро ехал?!» — спросил меня на <sup>проселке</sup> школьный товарищ Хинту Дарандиа. «Затаскивайся в дом, не то я тебе покажу «быстро!»» — раздался голос его матери, и Хинту стрелой понесся в дом. «Это Луцин воришка», — шептались женщины, расположившиеся на лавках вдоль изгородей, когда я с ситцевой сумкой через плечо шел в школу. Некогда, в стародавние времена, в наших краях распространена была кража лошадей, теперь кража приняла иное направление — воровали молодую лозу: придет вор с наметанным глазом в полночь, выроет черенки, бедного человека, можно сказать, погубит, разворует весь виноградник. Потому люди держали в винограднике псов, проводили сигнальные звонки от виноградника к дому или просто не спали ночами, отсыпались днем. Но воры все равно брали верх. Случилось, у Трифо Дарандиа, что жил по ту сторону большого поля, разворовали виноградник. Обратил вор пошел не прежней дорогой, как следовало ожидать, — пересек поле, прокрался к нам во двор, обогнул дом с тыльной стороны и снова вышел в поле...

Я знать ничего не знал о краже, но стоило услышать о ней — сердце екнуло, ужасно не хотелось, чтобы на меня свалили вину, однако хотением хотением, а когда Трифо Дарандиа привел двух милиционеров с двумя ищейками на поводу, сомнений не осталось — меня обвиняли в разграблении виноградника. Дед Свимо был ни жив ни мертв, но вида не подал. (Меня дома не было и рассказываю обо всем этом, не будучи очевидцем, только наверняка знаю, что именно так все и происходило). Мы с Хинту возвращались из школы. У нашего забора встретил нас Трифо Дарандиа. Я ведь тогда был в полном неведении, школа располагалась далеко от дома (я жил в Куми, а школа была в Цкариши, на расстоянии почти семи километров); школа была и в Куми, но, по всеобщему мнению, Цкариши расположен ближе к городу и, значит, школа там лучше. «Школа как городская», — говаривал дядюшка Чаху, он не был членом колхоза, а его жена Пачу была и вместе с нами собирала чай на кумской плантации. Дядя Чаху служил на городской почте и бессменно ходил в форме почтового служащего, помню, какое уважение я испы-

ывал к одежде цвета хаки с кантами, она была для меня олицетворением правды и точности. Дядюшка Чаху всегда знал, сколько уроков я высидел в школе, пока я встретился с ним. Меня он вроде любил, отличал от других ребят. Возможно, это только казалось, но одно ясно—я был для него «городским» (он тоже работал в городе и очевидно между нами возникла некая незримая, чуть ли не родственная связь), потому-то он меня баловал, сажал на свой велосипед, сам держал руль, прогуливал по своему двору, начисто лишенному травы из-за маниакальной страсти тетушки Пачу подметать. Это был праздник. Легко представить себе мое состояние, когда в один прекрасный день дядя Чаху полностью доверил мне руль и я без посторонней помощи пустился по тропинке, упал, конечно, ударился о грушевое дерево, ободрал колено, помню недовольное ворчание бабушки Луцы, но какое это имело значение, когда на другой день я на виду у всех мчался по двору на велосипеде и все взгляды обращены были на меня. Это, сдается, походило на цирковое представление: я ехал по узкой тропке вокруг деревьев груши и хурмы, готовый упасть каждую минуту, однако, несмотря на убеждение зрителей в неминуемой аварии, успевал повернуть руль, словом, безупречно выполнил свою программу, и дядя Чаху в знак полного одобрения велел почистить велосипед. Что за этим последовало, известно, но я ушел в сторону; я говорил, что знать ничего не знал о краже у Трифо Дарандиа — школа располагалась далеко и отправляться приходилось спозаранку, словом, я был в полном неведении, когда получил от Трифо такую оплеуху, что несколько месяцев кряду мне слышались отрывистые слова «лозу где посадили» (иначе говоря, куда перепрятали), «кто еще был с тобой», «за сколько продали» и т. д. Главное, дед Свимо не узнал, что Трифо Дарандиа встретил меня по дороге из школы и избил, должно быть сам Трифо Дарандиа не очень был уверен в своей правоте и предпочел промолчать. История с проклятым велосипедом известна была всей деревне, и только ли деревне! И Цкариши. Куми, Укири, и, казалось мне уже, и Окуми... Попробуй теперь сказать, что Трифо Дарандиа избил меня без вины.

---

Мурман Джгубуриа. В тени грушевого дерева...



Я лежу с открытыми глазами. В доме все спят. Бабушка Луца давно погасила лампу и легла, дед Свимо храпит вовсю, дяде Але с молодой женой отвели большую комнату в знак почитания новобрачных. Примерно через год они перекочуют в маленькую комнату, пройдет еще некоторое время, и я услышу от тетушки Нуну (она скажет эти слова не мне, разумеется, мужу), услышу невзначай: «Помнишь, Але, эту комнату нам под спальню отвели?» Мысли о Трифо Дарандиа не дают покоя, воображение рисует картины ужасной мести, я мчусь на велосипеде по цкаришскому шоссе, что есть мочи нажимая на педали, внезапно, как из-под земли вырастает спина Трифо (я вижу только его спину, когда он возвращается с колхозных работ), и я, не раздумывая, наезжаю на него на полной скорости, вижу картину аварии во всех деталях, потом вдруг осознаю, что со спины нападают трусы и беру в руки револьвер (украдкой от деда Свимо везу в город груши или бамбук, продаю и после долгих поисков покупаю револьвер), однако нужно два револьвера — для меня и для Трифо Дарандиа. Где их раздобыть, а если и раздобудешь, кто пойдет секундантом? Из родни не возьму никого, а Хинту Дарандиа не отпустят. Время идет... Я — шофер. Трифо Дарандиа умирает под колесами моей машины. На дороге ни единой живой души. Я скрываюсь, однако на следующее утро, поднявшись по обыкновению рано, Чаху Дарандиа едет на своем велосипеде на почту. «Ты?!» — спрашивает. «Да», — отвечаю, ложь с Чаху не пройдет, он правды добьется. Ничего не получается. Я хочу спать. Засыпаю. Просыпаюсь, ворочаюсь в постели. Поеду в Укири. Останусь у матери. Она поймет. Начну новую жизнь, изменюсь совершенно, никто никогда ни в чем меня не заподозрит, буду таким же, как все мои школьные друзья-товарищи.

Почему я украл велосипед? В ту пору все мои ответы на свой же вопрос сводились к одному — я думал о матери. Порой представлялся мне Хинту Саданиа — я въезжал на велосипеде на улицу, где жили мои родственники и в их числе Хинту; эта часть города не густо населена, живут там почти одни только Саданиа; по обе стороны проселочной дороги высажены тополя, вдоль изгороди вьется тропа, перекрытая виноградной лозой, так что, если проехать по ней, останешься незамечен-

ным, а если и заметят, то не определяют, кто именно едет. Один только Хинту Саданиа непременно меня увидит. «Миха купили в деревне велосипед», — подумает он про себя и огорчится. должно быть, а может, наоборот — обрадуется. Помню, как в квартале Саданиа появилась первая легковая машина. Ваче Саданиа въехал на улочку на «москвиче», дал сигнал, остановился и вышел из кабины. Мы смотрели издали, не осмеливаясь подойти, боялись, как бы «москвич» вдруг не сорвался с места. Шло время, и подходили к «стальному зверю» с первобытной осторожностью и страхом; потом мы и рукой до машины дотрагивались, но Ваче всегда сердился и цыкал, садился в машину, и она трогалась, мы с гвалтом бежали следом. «Москвич» мчался, оставляя за собой клубы белого дыма...

Сейчас я понимаю, что просто-напросто истосковался по матери и это было первейшей причиной похищения велосипеда, тогда, правда, я не думал, почему это делаю.

Никак не могу вспомнить школу, уроки, вопросы учителей, свои ответы... Помню только субботний день, он проходил в ожидании чего-то нового и удивительного, в ожидании воскресного утра, когда передо мной, словно перед человеком, вынырнувшим из воды, открывались особые, увиденные впервые просторы. Где-нибудь в «верхней» или «нижней» запруде, не все ли равно где, важно, что когда вынырнешь и кто-нибудь из ребят снова погрузит твою голову в воду, испытываешь неприятное ощущение и чувство досады: не сумел (а приготовился) раскрыть глаза, вздохнуть, взглянуть на берег или просто на свою ситцевую рубаху и брюки с подвернутыми штанинами, спрятанные под грудой камней. Никому, конечно, в голову не придет утащить твоё барахло, но, увидев его, все же испытываешь чувство удовлетворения. Очевидно, собственная одежда раньше всего прочего указывает на возвращение к покинутой реальности, точнее к природе, которая вот-вот должна была стать реальностью, но чья-то рука насильственно свергла тебя в немое царство, оглушила, и кажется, ты навсегда останешься в мире монотонного шума, как мох, прилипший к камню на дне реки. Молчание замшелого

---

Мурман Джгубуриа. В тени грушевого дерева...



камня на дне реки похоже на молчание деда Свимо, который вечерней порой сидит на пне, погруженный в свои думы, и не говорит ни слова в ответ на бабушкино ласковое и щемящее душу: «Поел бы что-нибудь, родненький!» Стемнело, из кухни все отправляются в дом; уже и коптилка перекочевала в комнату, потом ее выносят снова, выносят на цыпочках, молча, наставят свет на деда Свимо, пройдут перед ним по-прежнему на цыпочках, не посмеют молвить слова из страха, из почтения, из-за ночи. Дед Свимо просидит на пне столько времени, сколько заблагорассудится, все больше становясь похожим на замшелый камень на дне реки. Звезды медленно зажигаются в небе, луна смотрит на рощи, взглянет на старика, вздрогнет и медленно начнет клониться к хребту. Откуда-то вылезет собака, приблизится к человеку на пне, твякнет беззлобно и затрусит прочь... И снова рука кого-то из ребят погружает меня в воду — в бескрайний, всеобъемлющий покой..

У меня было решено встать, как обычно рано утром, позавтракать, собрать сумку и вместо школы объявиться в Укири, но уйти, не предупредив, значило — сбежать, и это озадачивало. Что было делать? Я не мог сесть рядом с дедом Свимо и поговорить как с равным, это было невозможно, и разговора, как я должен жить отныне, не получилось бы никакого. Это «отныне» заключало в себе солнце и поле, сад и виноградник, нашу и соседские усадьбы, грушу и длинную лавку, на которой дед засыпал в полдень, стол, освещенный коптилкой, и нарды, тихие и спокойные вечера, учебу в школе и работу дома, терпение и послушание. Жутким было это «отныне», день, который последовал за той ночью, походил не на день, а на ночь, это и была ночь, только пострашнее и потяжелее, поскольку поглотила день, и за ней, ночью-днем, сама по себе должна была последовать ночь истинная, получалось две ночи, одна продолжение другой, потом снова ночь и так без конца, и никогда уже не рассветет — таким было это «отныне», явившееся мне, когда дед Свимо сидел перед кухней, напоминая замшелый камень на дне реки.

Следующее утро будто вновь вселило в меня надежду, что все будет хорошо, не мы одни жили в деревне, пускай Трифо Дарандиа расхлебывает историю сам. Иначе думал дед Свимо. Он в ту ночь окаменел,

весь уйдя в мысль — не его ли подозревает сосед в воровстве. Однако кто бы ему осмелился сказать такое, и все кончилось и прошло, предалось забвению, позабыла об этой истории деревня, позабыли дядя Чаху и Пачу Дарандиа, позабыл сам Трифо Дарандиа, хотя лозу похитили у него, но дед Свимо долго обо всем помнил, он или думать ни о чем не думал и ничего не подпускал близко к сердцу, или, если уж подпускал, то навсегда, и затаил старик обиду глубоко на Трифо Дарандиа, хотя виду не подавал. Солнце уже поднялось, когда я вышел на балкон, дед Свимо отправился на колхозное поле, остальные, как всегда, были дома. Помню, была среда, середина недели, и я подумал, что ничего особенного, а то и вовсе ничего не произошло и все это мне почудилось по нездоровью. В самом деле, неужто взрослые не понимали, что я был слишком мал, не сумел бы выкопать лозу, если бы и хотел, и вообще на кой черт они сдались, саженцы лозы. Я спустился с балкона, подошел неизвестно почему к инжировому дереву в углу двора, во мгновение ока взобрался на его верхушку. На вершинах Кавкасионии ослепительно сверкал снег, я ощутил неожиданный прилив сил и голод, ранее неведомый. Сейчас, когда я рассказываю об этом, вспоминается маленький дом на окраине Укири, в котором жили мать, отчим, Маквала и я. Никелированная кровать, которую мы забрали из Окуми, стояла в маленькой комнате, служившей одновременно кухней; сестренка, помню, хворала, кажется болело горло, да если бы и не болело, ей все равно постелили бы постель на кровати, не в этом дело. Я хочу сказать, что мне приходилось спать прямо на полу, в головах у сестренки или у ее ног, она болела уже несколько месяцев и нуждалась в тепле и заботе. Ночи стояли теплые, я ложился, подложив под голову маленькую подушку, на правый или левый бок и, просыпаясь утром, внезапно ощущал необыкновенный прилив сил, гораздо больший, чем могло вместить тело, — об этом напомнил сейчас хребет Кавкасионии, увиденный утром с инжирового дерева; я мог подняться еще выше, но оттуда открывался тот же вид, забирайся хоть на вершину груши, хоть на крышу дома, все одно, вид отовсюду был одинаков. Человек зача-

---

Мурман Джгубуриа. В тени грушевого дерева...



стую выбирает долгую дорогу, конец которой очевиден изначала, он известен, и, сколько ни ходи, ничего не изменится.

...По соседству жил крестьянин по фамилии Дарандиа, по имени Гури, он злоупотреблял спиртным, пил до бесконечности и, как говорили, рано отправился на тот свет, его жена, бедняжка (говорили соседи), умоляла: «Гури, отстань от водки, от огня этого отстань, Гури»,—умоляла, приставала в одну душу, просила чай пить, чай, мол, заменяет лекарство. но Гури Дарандиа водку любил. Под конец он под влиянием слов жены стал называть водку чаем и требовал налить ему чаю. Гури ушел из жизни лет сорока от роду, и люди были огорчены, но перед смертью пришла к нему душа его, жена, и предложила чай. Гури Дарандиа согласился. Принесли чай больному, он его выпил, какое-то молвил, блаженство—и испустил дух. Когда бы Гури вернулся в этот мир и начал жить заново, он не признавал бы ничего, кроме чая, только не бывает так.

Дед Свимо не покидал Укири, и это меня удивляло. Я не знаю, что он думал о том или ином предмете, вещи или явлении, одно помню отчетливо, дед Свимо сказал (на балконе, кроме него, сидели Тэре и Чаху): «Отсюда, дружище, не следует переходить за Ингури-реку, туда, то есть, и оттуда за реку Хоби». Разговор, помню, шел о каком-то мощном оружии, которым вооружались наши войска. Сообщил об этом дядя Тэре. Он был человек, выдавший виды, даже в Тбилиси бывал, потому его всегда слушали внимательно и с почтением. Дед Свимо ничего о новом оружии не знал, не слышал, и, однако, никак на сообщение не отреагировал. прошло оно мимо него, как если бы человек, идя по улице большого города, прошел бы мимо замечательного памятника, но не заметил бы его.

Три дерева на голом кумском холме, день и ночь доступном всем ветрам, Тариэл, Автандил и Придон, точно не знаю, которое из них кто, не знал никогда, но так мне казалось, когда я смотрел на кумский холм и видел три больших дерева, и, где бы ни читал книгу Руставели, в воображении всплывал голый кумский холм и три дерева, и продолжался сказ о Тариэле, Автандиле и Придоне; вдали виднелся лесистый склон; за рекой, за полями — густое пятно леса, еще дальше — лес дрему-

чий, и верст на пять поодаль снова лес; пятна леса на-  
поминали мне группы войск. Они шли навстречу друг  
другу, соединялись, чтобы вступить в схватку с дру-  
ми войсками, чужеземными, однако порой леса, разбро-  
санные кучкой в трех разных местах, казались мне про-  
тивниками друг друга, они медленно спускались по скло-  
ну с копьями на весу, продвигались вперед и вот-вот  
должны были сойтись в кровопролитном бою... Безо-  
всякой связи вдруг вспомнилось, как нашел на чердаке  
книгу Серги Макалатиа. Это я сейчас говорю «книгу  
Серги Макалатиа», тогда я представить себе не мог,  
что у какой-либо книги есть автор. Я поднялся на чер-  
дак по лестнице, кем-то приставленной к люку и, оче-  
видно, позабытой — в доме никого, кроме меня, не  
было. На чердаке хранили зимнюю грушу, круглую и  
желтоватую, необыкновенно ароматную, сочную и  
сладкую после длительного хранения; недавно собран-  
ная, она никуда не годилась, невкусная, крепкая —  
зубы сломаешь или поперхнешься. На чердаке фрукты  
засахаривались, становились сочными, тогда-то и хоте-  
лось их отведать; благо подвернулся случай и я за-  
брался наверх, осторожно ступая по тонким доскам  
чернопола. До груш, сваленных в углу, было шагов  
пять, но пока я туда добрался, на глаза попалась  
книга в невзрачном переплете, я ее поднял, отряхнул  
пыль и прочел: «История Мингрелии». Книга была  
старая, изъеденная временем, выцветшая, с пожелтев-  
шими страницами, я раскрыл ее и раскрыл именно в  
том месте, где лежал листок с нашей груши, крохот-  
ный, прозрачный и слабый, его и листком нельзя было  
назвать, один дух листка, что ли, похожий на тончай-  
шую вышивку на тонкой желтоватой странице — до-  
статочно слегка коснуться, от удивительной вышивки  
останется лишь блеклый след, листок обратится в  
пыль.

Хотел бы я знать, кто читал книгу под тенью гру-  
ши, когда легкий ветерок сорвал с дерева листок и  
обронил его на раскрытую книгу, навел человека на  
какую-то мысль, его пальцы пододвинули листок к  
месту сгиба и осторожно закрыли книгу. Дед Свимо  
был неграмотен, бабушка и Але до книг не дотрагива-

---

Мурман Джгубуриа. В тени грушевого дерева...



лись, а читали ее давным-давно, война, несомненно, не начиналась еще, ведь дядя Кочия и Гута не возвращались с фронта, и если кто-нибудь из них брал книгу в руки, читал ее до войны. Так оно и оказалось. По словам бабушки, однажды, до войны, к Гута приехал товарищ из города, он и привез с собой книгу. Бабушка готовила обед, погода была хорошая, парень читал книгу в тени грушевого дерева. Потом они помылись, все втроем, Гута, Кочия и приезжий со дня на день ждали отправки на фронт. Гость забыл у нас книгу, она всю ночь пролежала на лавке, наутро дед нашел ее и велел Але отнести на чердак, парень из города не заезжал больше в Куми, кажется, он раньше Гуты и Кочии отправился на фронт, и книга осталась в доме, вот и вся история. Я не стал тогда читать книгу Серги Макалатиа «История Мингрелии», во-первых, честно говоря, мало что понял бы, во-вторых, от ее страниц, картин и самой обложки веяло какой-то безысходностью и вся она пахла ветхостью, однако же разве не таким был весь наш край? Грусть и уныние автора, очевидно, исходили из безотрадности крестьянской жизни. Как бы там ни было, дед Свимо испытывал уважение к владельцу книги и велел ее спрятать на чердаке, чтобы возвратить при случае.

Когда я, сидя в тени груши, читаю книгу, дед хлопочет во дворе по хозяйству. Погоды стоят ясные, вокруг тишина и покой, солнце бороздит землю; солнце занято своим делом, старик—своим: в поле за усадьбой начинает созревать кукуруза, дед катит небольшую тележку с навозом в виноградник. Бабушка Луца суетится возле кухни или крутится между грядками в крохотном огороде, очищает овощи от сорняков, дядя Але в ближнем лесу заготавливает дрова, оттуда то и дело доносится отрывистый стук топора. Не помню, что именно я тогда читал, помню раскрытую на коленях книгу и деда, катящего тележку в виноградник. Кем я был тогда для деда Свимо, — я хочу сказать, кем я был в его глазах, ведь он не умел читать, — и что он обо мне думал, когда шел мимо с тележкой в виноградник, опорожнял ее и возвращался обратно, а я неподвижно продолжал сидеть, уткнувшись носом в книгу?

«Читай вслух!» — кричит с огорода бабушка, «не

прикидываешься ли?» — хотела она сказать тем самым; дед ничего не говорил, проходил мимо и возвращался назад со своей тележкой. Я осторожно вращивал голову, тень вокруг груши постепенно уменьшалась — выше поднималось солнце и тень становилась меньше, а когда она достигала края длинной скамьи, где я сидел и читал, бабушка Луца выходила из огорода и начинала приготовления к обеду, дед все катил и катил тележку от кукурузного поля к винограднику и обратно; «Голова у ребенка распухла», — говорил он, когда я закрывал книгу и не прикасался к ней больше, но его слова не освобождали меня от самого что ни на есть настоящего экзамена вечером, когда вся семья собиралась на балконе дома и у нас в гостях бывал дядя Чаху или кто другой; не имеет значения. Я держал в руке закрытую книгу и пересказывал прочитанное днем, а то и вовсе прошлый урок. Сгущались сумерки и умаялся свет, заглядывать в книгу не имело смысла, как бы того ни хотелось. «Если в мензурку налить воду, она вытеснит воздух и займет его место», — помню, с какой охотой и удивлением дед Свимо слушал эту в общем-то элементарную истину.

Порой я сбивался. «Вот видишь, — бабушка Луца с торжествующим видом обращалась к мужу, — вот, государь мой, ты посылал его собирать кукурузные стебли, и не знает дитя урока». Дед молчал с виноватым видом, должно быть считая упрек справедливым. Иначе относился ко мне дядя Але, его, говоря по правде, мало интересовали мои уроки, я чувствовал себя с ним раскованным во всех отношениях, поручений он не давал мне никаких, не звал принести что-нибудь, корову из хлева выпустить, свиней запереть в свинарнике, солому в ясли засыпать, двуручной пилой пилить помочь. Маялся в одиночку, я шел к нему при надобности и раз-другой проводил пилой по дереву, помогал допилить до конца. «А теперь уходи, — говорил он, — уроки готовь, смотри, как бы бабушка не увидела».

Мы полдничали, и Филу Дарандиа, который помо-


---

Мурман Джгубуриа. В тени грушевого дерева...



гал нам тогда в прополке, полдничал с нами. Полдник был отменный: вино, гоми с сыром и, главное, лобно.

Жара была. Простор полыхал зноем, пот ручьями струился по лицам. «Еда-то еда, а стоит труда», — заметил дед Свимо. День проходил во власти зноя и пекла, и вдруг полил дождь. Это «вдруг» и было неожиданностью, иначе гром и молния в начале мая едва ли кого могли удивить, но как-то сразу помрачнело небо, опустилась темень. «Не перестанет», — сказал дед Свимо, ни слова больше, хотя, пока гром загредел и небеса заволокло тучами, будь здоров сколько слов было сказано, сколько историй поведено, о чем только не вспоминали, где только не побывали, куда только не собирались отправиться, но раздался грохот, почернело небо, и все разом языки проглотили, сникли, и не только те, что сидели вокруг стола, — даже кормилица наша буренка подошла к воротам, обманулась, бедняжка, видно, решила, что вечереет, и вернулась с пастбища в полдень, однако меня это удивило куда меньше, чем внезапно оборвавшийся оживленный разговор, чем эти люди, внезапно исчерпавшие тему, может они и хотели продолжить разговор, но не могли слова молвить и не прикладывали к тому усилий, все происходило естественно, непринужденно, безо всякого вмешательства с чьей-либо стороны, только виновник молчания несомненно существовал. Я догадался об этом, догадался, и причины, разумеется, не пытался осмыслить, но запомнил. Я и сейчас вижу людей, встревоженных разыгравшейся непогодой, притихших говорливых сотрапезников, деда Свимо и Филу Дарандиа, дядю Але, тетушку Нуну и бабушку Луцу, застывшую у дверей кухни с каким-то предметом в руках — верно, несла какую-нибудь снедь к столу, остановилась на полпути, прислонилась к кухонной стене, да и застыла, как отрешенная; у ворот кормилица наша, корова, съезжившаяся, печальными глазами смотрела в сторону людей, двора, хлева, где все еще горел тусклый свет, ее обнадеживавший... Почему-то мне кажется (и это мелькнуло в мыслях), корова раньше людей почувяла непогоду и пораньше отправилась домой, а дед Свимо сперва растерялся, только тогда велел занести стол (он, как обычно, стоял под грушей) на кухню, когда оглушительно загрохотал гром, однако тому, ве-



роятно, тоже есть свои неосознаваемые причины: ко-  
рова покинула кумскую низину раньше, чем разыгра-  
лась непогода, но и дорога до дома была у нее изряд-  
ная, а дед Свимо, верно, полагал, что он дома и спе-  
шить некуда; на стол не упало ни единой капли — с  
молниеносной быстротой все оказались на кухне и ба-  
бушка зажгла коптилку — нет ничего более запоми-  
нающегося, чем свет, зажженный сумрачным днем...  
Невольно напоминает о нем улица большого города  
после дождя и внезапно возникший отчетливо цвет  
заржавевшего катка, которым раскатывали и утрам-  
бовывали асфальт, и цвет ржавого бульдозера подав-  
ляет все вокруг, горит, как протест, как противник со-  
здавшегося положения, и точно возведенный кулак гро-  
зит всей улице, всему городу, всему миру; свет коп-  
тилки, зажженный в полдень, пускай сумрачный, созда-  
ет совершенно иной настрой — он светит невыразитель-  
но и тоскливо — так светят горящие днем городские  
фонари, их свет бесцелен и ненужен, ни жив и ни  
мертв, он — на последнем издыхании.

Дядя Але, говоря, обращался со мной особо, ина-  
че, чем остальные.

Помню, как он незаметно подошел и положил пе-  
редо мной на стул зажженную коптилку, когда я, си-  
дя на табуретке на балконе дома, зачитался, не заме-  
чая наступления сумерек. Я как ни в чем не бывало  
продолжал чтение, скажи он хоть слово — уже, мол,  
стемнело и не зря ли ты уткнулся в свою физику, —  
возможно, я и не запомнил бы того вечера, однако все  
произошло так, как рассказываю, бесшумно и без слов,  
дядя Але ничего не сказал. Я не подумал об этом тог-  
да, но я понимаю теперь — он с крайним уважением  
относился к читающему человеку и, кто знает, может,  
в этот вечер подумал, что из меня будет толк.

---

Мурман Джгубурна. В тени грушевого дерева...





## ВЕЧЕРНИЙ БАЗАР

**С**АДАНИЯ размножались как мухи, в каждой семье было по десять-двенадцать детей. «Оно и понятно — дел и забот никаких, и жилью у всех крохотное», — говорили люди из соседних кварталов. Зимой ночи долги, и сказка о хождениях по морю и суше, пешком и на коне, на лодке и ковре-самолете, длинная, как ночь, утомляла детей и навевала сон. И они засыпали, и гасла коптилка. Я глубже зарывался лицом в подушку, ничего не видел и не слышал, и перед мысленным взором возникала бабушка Луца и шелкопряд, и слышался шелест тутовых листьев, постеленных червям, и ночь была долга и темна...

Отчим почти весь год провел без работы, никто не хотел затевать строительства и даже ремонта. Что-то творилось в мире, не знаю что, да и не к чему было знать. Описываю то, что видел, о чем вспоминаю и отсюда иду к себе, взрослому Миха, в город, где сейчас живу и описываю пережитое, сидя за письменным столом, едва освещенным солнцем, прокравшимся сквозь шторы. Я не слышу уличного шума, рокота моторов, лязга. Я занимаюсь самообманом, придумываю тишину, иначе ничего не получится, тонка нить и рвется. Все похоже на нить, которая поминутно рвалась у матери и она просила снова продеть ее в игольное ушко. Ничего нельзя слишком растягивать, напрягать, а машина вертится, ручная швейная машина. Ее надо крутить без усилий, надо чувствовать материал, из которого шьешь, и знать, что именно шьешь, какая она, нитка, которую тянет машина, сколько дырочек и крючков она должна пройти вверх и вниз, вкривь и вкось, прежде чем выпрямится струной. А ты смотришь на мир сверху — все на виду.

...Зима выдалась снежная. Снежная зима, говорят, предвещает богатый урожай, но урожай того года не принес нам ровно ничего. Отчим сидел без дела.

Дед Свимо вспахивает поле. Плуг скрежещет. Пьянящий дух идет от вывороченных комьев земли, длинный дождевой червь, извиваясь, свисает с кома, укорачивается, растягивается и снова укорачивается и растягивается, извивается, как поезд в извилистом ущелье. Старик случайно наступит на него и разорвет на две части, и эти части, по-прежнему извиваясь, разойдутся в разные стороны. Проследивая за ними, я увидел обломок тарелки, вымаранный в земле, поднял его, счистил пальцами землю, теплую землю, протер рукавом. Бледно-зеленые листочки показались округ облома. Я положил его в карман и, радуясь неизвестно чему, пошел впереди волов, запряженных в плуг. Веселая, как узор на обломке тарелки, была жизнь у моего школьного друга Джани Хантуриа. Мы с Джани сидели за одной партой, прежде со мной сидел Хинту Саданиа, но он бросил школу — работа требовала рук, дети Саданиа сызмальства приучались к труду, к самостоятельной жизни, одни занялись извозом, другие торговлей фруктами. В отрочестве почти все они, мои одноклассники, торговали фруктами. Мы брали кузовок, сплетенный Джоко Саданиа, и ни свет ни заря отправлялись в деревню. От каждой корзины получалось рублей пять-шесть прибыли, вся спина была исполосована от таскания корзин. Опорожняли ее и вздыхали с облегчением, основную сумму складывали отдельно, прибыль — отдельно. Хинту Саданиа всегда выигрывал больше. Прежде всего, он был старше на целых два года и, главное, попроворней всех остальных, мог таскать груз потяжелее, и что примечательно, если в городе кто-нибудь звал продавца груш, он подбегал к нему первым. Пораспродав груши, Хинту бежал обратно в деревню и возвращался с новой партией, а наши корзины к тому времени были пусты только наполовину. Вечером мы с пустыми кузовками возвращались домой или садились где-нибудь в проулке, вытаскивали из кармана деньги, тщательно еще раз пересчитывали, складывали бумажные деньги отдельно, мелочь отдельно и играли в кости. Хинту Саданиа, как правило, выигрывал и довольный отправлялся домой. Зимой, прихватив пошитые дома ситцевые сумки, мы

---

Мурман Джгубуриа. В тени грушевого дерева...



отправлялись на станцию Ингири, где останавливались скорые поезда. Поезда ехали откуда-то из больших городов в большие города, все они останавливались у ингирской станции и стояли довольно долго. Мы поднимались в вагоны, наполняли сумки папиросами и на пригородном поезде ехали в Укири. — «Сулико!» «Сулико!» Папиросы «Сулико!» — выкрикивали мы во весь голос. Папиросы «Сулико» стоили два рубля двадцать копеек, столько же стоили «Флотские», а затем «Беломорканал», мы продавали пачку за три рубля и выручали рублей пять-шесть в день.

Один Джани Хантуриа был чист, как вычищенный мной обломок тарелки с бледно-зелеными листочками округ.

Моей школой были укирские улицы, подъем, ведущий в Саканарио, река Синца и узкий висячий мост через нее. Дети Саданиа, сидящие на тротуаре пыльной улицы, и я среди них, маленький, грустный и огорченный оттого, что не у меня купил груши тот здоровый дядя, а у Хишту Саданиа. «Моя груша, уважаемый, свежая, недавно собрали, он (кивок головой в мою сторону) с утра здесь сидит, а я только что пришел». Моя школа — поезд, едущий от Укири к Ингири, и ингирская станция, где дядя милиционер хватал меня рукой за ворот рубахи и сбрасывал с вагонных ступенек.

Миту Андиа боялся лягушек, я это знал, но ничего не знал о Джани Хантуриа. «Вера Михайловна, Тутариа у меня списывает!» — громко жалуется Хантуриа. Учительница подходит ко мне и вежливо отбирает тетрадь, отбирает ласково — так нельзя, говорит нежно, и выгоняет вон из классной комнаты. Вера Михайловна, должно быть, видела меня на улице, знала, чем занимаюсь, может потому и обращалась ласково, побаивалась, возможно.

До подъема на гору Конариа надо пройти Синцкий мост, ненадежный, шаткий, в половодье его смывало, переходили реку вброд и минут через двадцать поднимались на гору Конариа. Гора обнесена была забором из кругляков, высотой метра два.

Минуя забор, мы заходили в одностворчатые ворота, помню, у самых ворот находился загон, огороженный живой изгородью; узкая виноградная аллея от ворот вела во двор, где в одном исподнем возлежал в те-

ни хозяин огромной усадьбы Герге Конариа, Герге было  
лень разговаривать с нами, я чувствовал, но и отпу-  
скасть нас не хотелось, и, лежа в тени, он договаривал  
ся о цене: кузовок — рубль, и конец делу!

Трусить дерево он не разрешал — упавшие на землю  
груши быстро портились, — мы взбирались на деревья,  
тщательно выбирали плоды, осторожно срывали их, ук-  
ладывали каждый в свою корзину. Хинту Саданиа, ко-  
нечно же, раньше всех наполнял кузовок и помогал нам,  
но помню, как он подсыпал мне наполовину незрелые  
груши, «Глупый я, — говорит, — ошибся, мне тоже  
такие груши собрать следовало!»

Он называл себя глупцом, Хинту Саданиа, а меня  
дурачил, в тот день все, кроме меня, пораспродали свой  
товар, пришлось отнести груши домой. Так, значит, мы  
наполняли кузовки и выстраивались в ряд перед гос-  
подином Герге Конариа. Герге брал свою известную  
всей округе «мерку» — крючковатую палку, прово-  
дил по верху корзины, пирамидки фруктов рушились  
и падали на землю; мы знали, что досточтимый Герге  
не даст унести переполненные кузовки, но все равно  
каждый раз наполняли их по-своему. Затем начинался  
расчет: Конариа указывал палкой место на траве, куда  
надо было класть деньги. Помню, как однажды Хинту  
Саданиа подошел к вороху рублевков, валявшихся на  
траве, взял одну из них со скомканным и загнутым кра-  
ем, положил на ладонь, тщательно распрямил и забот-  
ливо положил обратно. Герге Конариа с одобрением по-  
смотрел на Хинту. «Из него человек выйдет», — сказал  
он женщине, которая стояла рядом, своей дальней род-  
ственнице, находившейся из милости на его содержании,  
мы знали об этом со слов самой женщины. Она, видно,  
истосковалась по общению с людьми и изливала нам,  
детям, свою душу. Так, мол, и так. Герге Конариа  
большой человек, содержит меня из милости, хотя я не  
родственница ему (она кривила душой, она приходи-  
лась Герге Конариа родственницей, это было известно  
всей деревне, только почему сама скрывала, не знаю,  
никто не знал этого, знали только ее имя — Нора). Она  
была бесправна в доме Конариа, продать груши в от-  
сутствие Герге и то не решалась, сказала как-то, что

---

Мурман Джгубуриа. В тени грушевого дерева...



Герге сам знает свое дело и точка. Мы не тревожили ее больше, и она ничуть не беспокоилась, садилась перед домом и смотрела на тропку, вьющуюся по ~~горам~~ <sup>горам</sup>. Помню, как всполошилась однажды тетушка <sup>Гора</sup>. «Вот он, не Герге ли это идет!» — воскликнула она, однако без вопросительной интонации в голосе и быстрыми мелкими шагами пустилась вниз по тропке. У Норы, говорили в деревне, то ли был, то ли есть ребенок, но никто не знал, от кого и где он. Я пытался вычитать правду в ее глазах, но они были непроницаемы. «Я по женщине сразу замечу, есть у нее ребенок или нет», — похвалялся Хинту Саданиа, и почему-то все время смотрел в ноги примостившейся на ступеньках Норе, та не смущалась и виду не подавала, не поправляла платья, не прижимала колен потесней друг к другу, сидела, как сидела, и Хинту заявил, что ребенок у нее есть. Он говорил еще, будто видел сон, какого никто другой в мире не видел. Как хотелось тогда мне и нам всем хотя бы на одну ночь перевоплотиться в Хинту — сам Герге его обласкал и сны он видел, каких никто не видит... Словом, мы брали свои кузовки и спускались вниз по тропке, время от времени присаживаясь отдохнуть. Фрукты были укрыты листьями, они сохраняли груше влажность, сочность, цвет и, главное, вкус, иногда мы поднимали листья, смотрели на груши, накрывали их снова и продолжали путь. Путешествие из Укири в Ингири было несколько опасным: то какой-нибудь милиционер вышвыривал нас из поезда, а то пригородный поезд с опозданием прибывал в Ингири и нужные нам поезда дальнего следования давно уже были в пути, ко всему не так-то просто было взобраться на поезд — не приведи бог, заметит Кажа Дарджаниа, заметит и конец, не то что с папиросами, с пустыми руками едва ли отпустит. Продержит всю ночь в своей комнате, а утром вышвырнет вон: «Чтобы я тебя, мерзавец, не видел здесь больше», и бредешь домой, продрогший до мозга костей, съезжившийся, словно уменьшившийся в росте от ночного бдения, с выпотрошенными карманами и сердцем, мучительно раздумывая, что делать дальше, где раздобыть сумму, которая необходима для дела, иными словами, с которой берешься за торговлю, с какой совестью явиться домой! С превеликим

трудом мы забирались на поезд, прокрадывались в вагон, дебелие женщины набивали папиросами наши ситцевые сумки, и мы, как обычно, тайком отпра-  
В  
5949  
3022010933

лись в Укири.

\* \* \*

Отчетливее всего из этой поры моего детства помню вечерний базар, но прежде чем обратиться к связанным с ним историям, я хочу уйти несколько в сторону, рассказать о встрече в кафе с женщиной в безупречно чистой белой сорочке. Стоило мне выкрикнуть название папирос, он тотчас ко мне повернулся и подзвал жестом. Подойти-то я подошел, хотя почему-то мелькнуло в мыслях, что лучше бы я вовсе сюда не заглядывал, однако уже было поздно. За столом, кроме него, сидела женщина, я знал ее, она работала в этом кафе официанткой. Она, когда я вошел, поднялась, принесла из буфета кофе и полный стакан коньяка, поставила на стол, вернулась обратно и с кем-то заговорила, украдкой поглядывая в сторону своего клиента. Я достал из сумки пачку «Флотских» и протянул незнакомцу в белой сорочке, тот взял и дал мне червонец вместо трешки, я вытащил еще две пачки, чтобы рассчитаться, но он отказался и от папирос, и от сдачи. На следующий день из любопытства я снова заглянул в кафе, незнакомец сидел на прежнем месте и пил кофе. Он подзвал меня, взял пачку сигарет и предложил выпить вдвоем какао. Я согласно кивнул головой, побежал к официанту, спросил две чашки какао, расплатился и вернулся к столу. Незнакомец отставил кофе и коньяк и пододвинул к себе чашку с какао. Я пил какао и смотрел на него во все глаза. Он был приезжий, судя хотя бы по костюму. Месяца через три мы снова встретились на укирском рынке, костюм на нем был прежний, но помят и грязен до предела, и сам он выглядел каким-то сникшим и жалким. Он сам подошел ко мне, я молча протянул ему пачку папирос, он что-то пробормотал невнятно, поблагодарил, наверное, и ушел. Так же без слов мы встречались еще раза два, я давал ему папиросы и он уходил. После я не видел его в Укири довольно долго.

---

Мурман Джгубуриа. В тени грушевого дерева...



У входа на рынок два столба, сложенные из обломков кирпича, к столбам прикреплено потрепанное полотно с выцветшей надписью «Укирский колхозный рынок». Рынок обнесен железным решетчатым забором. Здесь, в маленьких лавках-навесах, продают муку, кукурузу, фрукты, табак; по правую руку от забора торгуют скотом, отдельно расположен птичий рынок. Каждые пятницу-воскресенье крестьяне из ближних деревень съезжались в Укири, рынок наполнился продуктами; везли фрукты, овощи, муку, зерно, птицу; пригоняли телят, коров, овец, лошадей, буйволов и прочее. По правую сторону от забора, как сказано, торговали скотом, по левую, в небольшом тупичке, устраивался вечерний базар. На исходе дня мужчины в синих фуражках пронзительно свистели в свистки, торопили торговцев покинуть стойки; торговый день завершался. Одни без слов собирали оставшийся товар, покидали рыночную площадь, другие артачились или жалостливо просили дежурных подождать еще: «Самая малость осталась, пропади я пропадом!» Кажа Дарджаниа не обращал на них внимания, упорно и настойчиво выгонял крестьян, подмигивал знакомым перекупщикам, давал им возможность сбыть товар, но проходило еще некоторое время, и рынок пустел, все были вынуждены его покинуть, хотели того или нет. Продавцы считали деньги, закрывали ларьки, официантка рыночной столовой выплескивала из ведра прямо на мостовую грязную воду. Тем и завершалась дневная рыночная суетня. Несколько пьяных мужчин валялись там и сям, я знал некоторых из них, они добывали кусок хлеба, перетаскивая продукты с ароб или телег на прилавки; в базарный день, в любое время дня, можно было увидеть какого-нибудь мужчину с огромным вымаранным в муке мешком на спине, перед ним семенила иссохшая старушка: «Сюда, послушай, парень, сюда». Деньги, добытые таким образом, шли на водку; таксальщики тут же на рынке подходили к прилавку и безо всякой закуски дергали крепкую «чачу». К вечеру они были пьяны, иные, правда, и до вечера не дотягивали, пьянели с первого захода, и, конечно, им никто уже работы не давал; видел я человека, распластавшегося на земле, придавленного тяжелым мешком.

Помню, отчим однажды привел таскальщика домой. Он сделался нашим постояльцем, мать его кормила, поила, обстирывала, жалела, словом, все мы его заботились. Был он молод, однако от постоянной выпивки худ и бледен, обессилел совершенно, с превеликим трудом притащил мешок муки и протиснулся в калитку, тут Кегва Саная решил помочь, но он отказался наотрез, попытался положить мешок на лестницу дома, не сумел, упал навзничь вместе с мешком, хотел уйти — не отпустили, и остался он жить у нас. Ухаживали за ним, как могли. Он зарекся пить, пошел на поправку, собрался с силами; раз в неделю ходил в баню, говорил, что мыться любит, ушел как-то и не вернулся. Месяца через два Джоко Саданиа привел на нашу улицу какого-то жалкого человека. «Он это! Он!» — кричали саданиевские дети, а человек и виду не подал, будто не слышал ничего. Я видел его потом на вечернем базаре, всегда пьяного вдребезги, он уже не узнавал меня, позабыл, наверное.

Когда на исходе дня рынок пустел, крестьяне и торговый люд с товарами сворачивали в узкий и тесный тупичок, где устраивался вечерний базар. Лавок здесь не было, продукты и товары складывали на мешки и обрывки газет, расстеленные по земле: «Булочки!.. Булочки! Батончики!.. Булочки!» — звонко выкрикивает русская девочка Лида, рядом, не вынимая изо рта папиросы, с кем-то разговаривает ее рослая мать; в толпе шныряют воришки — мальчишки из домов рядом с рынком, быстрые и живые как ртуть, со многими из них мы знакомы, но не дружим, у нас свое дело, у них — свое; вот маленький «жучок» прицепился к верзиле крестьянину, тот спешит, впереди долгая дорога, времени в обрез, но пока не все покупки сделаны, и глаза разбегаются («Глаз — враг человека, — говорил Кегва Саная, — не насытишь»). И того хочется, и этого, тут же колебания, сомнения. Жучку известен характер этого человека, он знает, сколько времени тот будет стоять в очереди за булочками, и без труда успевает повернуть свое дело; здоровенный мужчина сует руку в карман, а денег там ни гроша. Жучок становится перед ним: «Что, дяденька, — спрашивает он,

---

Мурман Джгубуриа. В тени грушевого дерева...



точно кукла растопылив руки, — деньги украли?» Крестьянин в замешательстве, он не знает, схватить мальчишку или призвать его в свидетели. «Вот он, видел, кто украл у меня деньги!» — орет верзила неожиданно. «Эй, ты, оставь ребенка, — с угрозой в голосе говорит мать красивой Лиды, — он тебе не беспризорник!» Не вынимая изо рта папиросы, она передвигает ее от одного края губ к другому. С левого бока обворованного мужчины свисает кинжал, не дай бог вытащит, такая пойдет заваруха. По счастью, Жучок успевает раствориться в толпе. Бывало, он подходил к нам, своим сверстникам, торговцам фруктами, приближался к расставленным на земле в ряд кузовкам с грушами, останавливался прямо напротив корзины Хинту Саданиа, нагибался, брал самую большую и яркую грушу, брал медленно, не торопясь, словно его терпение испытывал, доставал из кармана перочинный ножик и начинал ее очищать. Помню, как кожура попала в корзину. «Ладно, Жучок, брось это», — сказал Хинту. Жучок будто только тогда сообразил, что делает что-то не то, и тотчас удалился, исполненный, однако, достоинства. «Он и до квартала Саданиа доберется», — говорил Хинту, но Жучку до нашего квартала не было никакого дела — его место было здесь, на рынке, на вечернем базаре, здесь до него и пальцем не дотронулись бы, к тому же, если верить Миту Андиа, он любил Лиду, говорили еще, что мать Лиды любит Жучка, что мать Лиды вообще юнцов любит. Говорили, одним словом, — поди разберись. Однажды на базаре я увидел интересного на вид парня, которого все звали Байей, он, должно быть, был одних лет с Хинту. В кармане у Байи всегда были папиросы, и он курил не таясь, на виду у всех. Через три года после того он умер, «несчастливого курево убило», от курения развилось белокровие, и он умер. Тогда мы не придали этой вести никакого значения, а вот сейчас, с годами, белый отрок Байя, не знаю почему, все чаще возникает перед моим мысленным взором. После его смерти, сами того не замечая и не признаваясь, многие бросили курить, и было в этом нечто такое, из-за чего казалось, будто не курильщики, а сам Байя курить бросил, будто дым папиросы, ими выкуренной, мог повредить покойнику; мы часто не умеем взвесить

множество поступков, потому-то не знаем, что следует в действительности за тем или иным движением, со-  
гласием и отказом, словом и молчанием.



На укирской станции мы ждали приезда Като Саданиа — Като Саданиа не было в Укири целых пять лет, она болела, как говорили, «поразительной» болезнью и вот выздоровела как будто и возвращалась домой: говорили и то, что она ничем не больна, с детства была такой — «все время больной прикидывалась». Като в самом деле обижалась, когда ее считали здоровой. Поезд подошел к станции, мы кинулись к вагонам, показалась Като, обвела взглядом встречающих, обняла Пуху Саданиа, расцеловала всех своих родственников. «Не верю», — шепчет и прижимает к груди. Потом настал черед детей, и тут я оказался свидетелем того, о чем хотел сказать: Като Саданиа раскрыла было мне объятия. «Пуху, это он, Мирдат?» — спросила она, приблизившись ко мне. «Вот он, дорогая», — ответила Пуху и вытолкнула навстречу Като Мирдата. Едва ли Мирдат почувствовал бы себя обделенным, если бы Като Саданиа обняла и меня, но Като удивленно на меня посмотрела и обернулась к Мирдату... А ведь ей ничего не стоило потрепать меня по голове, дети ведь все одинаковы и снискать их любовь или неприязнь одинаково легко и просто, одинаково легко и просто обрадовать их и огорчить. Като Саданиа обернулась к Мирдату, отведя от меня застывшее в улыбке лицо и удивленные глаза. С тех пор я никогда не ходил на станцию с родней Саданиа встречать кого-либо. Хинту Саданиа этого не заметил, а если бы и заметил, не принял бы близко к сердцу, и это было для него естественно — Хинту был человеком далеким от сентиментов. Пожалуй, и мне не должен был западать в сердце этот случай, но, видно, не все дети одинаковы.

\* \* \*

Шло время, и день ото дня я все больше привыкал к вечернему базару, сумрачному тупику, светливой толпе, гвалту и к собственному голосу: «Груши!

---

Мурман Джгубурна. В тени грушевого дерева...



Груши!» Базарный запах и шум сопровождали меня домой...

Однажды случилось со мной нечто непредставимое. Отчим дал мне утром деньги на покупку дранки, я проиграл их в кости, зашел в городской сад и сидел в одиночестве, не зная что делать, с какой совестью вернуться домой. Оставалось либо вовсе исчезнуть из Укири, либо вернуться к деду Свимо в Куми (некоторое время все останутся в полном неведении относительно причины моего приезда, а дальше какой-нибудь выход найдется). Можно было поехать и в Окуми, к отцовской родне, но я не был у них давным-давно и не знал, как меня примут. Пребывая в этих тяжелых раздумьях, я вдруг вспомнил вечерний базар. «Найду. Жучка, или деньги одолжит, или выход выищет», — подумал я, и удивительно теплым и родным показался мне вдруг галдящий, суетливый и мрачный тупичок, галерея знакомых или просто увиденных лиц...

Я пришел домой поздно вечером и слышал, как мать спрашивала у соседей, не видели ли они Миха, кто-то ей отвечал «у нас его не было», «видели на базаре», «придет»; «Чего ты беспокоишься, чудачка, — утешала Пуху Саданиа, — придет, никуда не денется...» Однако вернемся к вечернему базару. «Кажа Дарджаниа идет!» — выкрикивал кто-нибудь, и вечерний базар вздрагивал, рассеивался: сломя шею бежали цыганки, следом трусили мы и долго, пока Кажа Дарджаниа вялой походкой не покидал тупик, наблюдали из укрытий за блюстителем порядка. Случилось, мы не успели покупателю отдать папиросы, хотя деньги уже получили, — пришлось сматываться. Покупатель стоял и смеялся, дожидаясь своего товара. «Почему стоишь здесь, если ты хороший человек», — прикрикивал на него Кажа Дарджаниа, но сказать что-либо более оскорбительное не осмеливался. Клиент, видно, был ему не по зубам: «Извольте, — говорит, — продавать в магазине, и меня здесь не будет». На этом беседа кончилась, Кажа Дарджаниа промолчал и вперевалку зашагал прочь. Мы вернулись и отдали папиросы, покупатель взял и ушел, не говоря ни слова. Люди, однако же, разные, один высоченный дядька при схожих обстоятельствах дал мне такого пинка в зад, что я вернулся к приятелям весь в слезах... Пе-

рекупщики вновь слетелись на прежние свои места: мы, цыганки, красивая Лида с матерью, хромо́й Тэре и Иасон-игрок. Не прошло и двух минут, как высоко́членный мужчина, тот самый, от которого я получил пинок, грохнулся на землю; никто толком не мог объяснить, что произошло, спрашивали один другого и пожимали плечами, между тем высоко́членный поднялся и продолжил путь, ругаясь на чем свет стоит. Потом к нам откуда-то приполз Жучок. — «Ну что, ребята, видели?» — горделиво спросил Жучок, большим пальцем придавил нос Хинту Саданиа, насмешливо прибавил: «Ну как, старик?!» — и отошел. В тот день я иными глазами стал смотреть на Жучка, а по дороге затеял драку с Хинту Саданиа. Хинту меня поколотил, и мы вернулись домой. Словом, появление рядового милиции Кажа Дарджаниа (он так и проходил жизнь в форме рядового), невзрачного, тщедушного, со свинцовыми глазами, всегда имело множество последствий. Говорили, что Дарджаниа, верно, убил столько людей — счет убитым потерял. К той поре, о которой рассказ, это был мужчина средних лет и, понятно, по велению времени прошел сквозь огонь и воду. «Он пули одна в другую сажает...» «Не смей бежать, не то куда укажу, туда и всажу», — он хотел сказать, что всадит пулю в то место, на которое укажет рукой, и так оно и было. Говорят, бегущему человеку Кажа Дарджаниа простреливал пятку. Голос у него был неприятный, визгливый по-бабьи, впрочем, какое это имело значение, когда его жизнь в наших глазах походила на легенду; одно было удивительно (для нас, мальчишек, разумеется), Кажа Дарджаниа был, как все прочие люди: так же заходил в столовую и туалет, осушал у прилавка стопку «чачи», тотчас краснел и ходил весь день красный, как вареный рак. В те годы совершал на Укири налеты какой-то знаменитый бандит, грабил магазины, держал в неопишемом страхе все население и, представьте себе, Кажа Дарджаниа в одиночку, собственноручно его схватил и привел куда следовало; и еще какого-то человека, прятавшегося в дремучих лесах, заставил покинуть убежище и сдать властям; чем только не грозили

---

Мурман Джгубуриа. В тени грушевого дерева...



рядовому милиции, что только не предрекали и стар и млад, но он ходил цел-невредим на виду у всех, красуясь своим маленьким пистолетом системы «ТТ» Дарджанна столько врагов — один другого выслеживает, как бы не опередил выстрелом...» В Кажу стреляли, но он всегда ускользал из-под града пуль; этого человека сам господь бог хранил для Укири и его окрестностей. «Воришка он, сволочь», — говорил Кажа при виде Жучка и, где только встречал, закатывал оплеуху. Теперь я, кажется, понимаю, в чем заключался секрет неуязвимости Дарджанна, и, сдаётся мне, он весьма прост: Кажа нисколько не заботился о себе, он охранял закон, не себя. («Наплевать ему на себя, потому и живой»). Кажа не рыскал в поисках воров, разбойников, спекулянтов, не врывался в их дома, знал всех наперечет, но лютый зверь пробуждался в Каже, когда он застигал их врасплох, и никакая сила не могла помешать пресечь беззаконие.

Перезкзаменовки у меня были частые, но осенью сдавать предметы не приходилось, ставили «милостынную тройку» и переводили в следующий класс. К тому времени мать родила сына, и в семье вроде бы наступили большее согласие и покой; мать сама стала поласковей по отношению ко мне, Маквала без конца вертелась около колыбели, смешила своего братца, и комната звенела весельем. Не прошло и двух лет, как мать снова родила, на этот раз девочку, назвали ее Ани. Я часто задумывался, на какие средства они собирались жить, на что надеялись, непонятно. Я охладел к учебе совершенно, пропускал уроки, шлялся с городскими мальчишками. Стащил однажды на укирском рынке трешку, завернутую в пестрый платок, и ничего никому не сказав, махнул в Окуми, к отцовской родне. Встретили меня Тутариа, должен сказать, неплохо, обрадовались приезду — меня, «сына Чико», как говорится, вырывали друг у друга из рук. Я ночевал почти у всех Тутариа. Был у меня здесь двоюродный брат, но он с семьей жил в крайней бедности, и я поселился в доме Баги Тутариа. Его жена преподавала грузинский язык в окумской школе, она привела меня в школу, и таким образом началась новая жизнь. Учился я хорошо. «А как вы думали, — говорили про меня Тутариа, — он ведь сын Чико!» — и как буд-

то был счастлив вполне. Меня повели и в Гумуриши, к той суетливой, бесконечно ласковой старушке, которая угостила меня инжировой лепешкой перед домом в Куми. «Сколько я умоляла Нани, — плакала старушка, — не надо, Нани, не вози детей отсюда, не отрывай от земли отцовской... Не поверила, не поверила... Как она поживает, бедняжка, нынче? Замуж вышла, да? Кажется, и детей от того человека родила, на что только это ей было, несчастной, а?» — она была исполнена беспокойства и плакала, плакала...

На обратном пути из Гумуриши у меня без особой на то причины вдруг испортилось настроение. Так бывает обычно: портится настроение, а потом события одно другого неприятней сплетаются цепочкой, как в игре, — вначале кости выпадают — события что надо — одни дубли по три, по пять и венчают их шестерки — выиграешь, уже будто знаешь, какие кости выпадут дальше, выигрышные или проигрышные, и это кажется до того ясным, даже боишься, как бы противник не учуял и не прекратил игры. Так вот, по дороге из Гумуриши у меня было настроение игрока, которому противник заглянул в душу и вычитал все его помыслы. «Вот тебе деньги, Миха, дружище, — сказал дядя Баги, когда я вернулся, — отнесешь их...» — он назвал адрес, куда следовало отнести деньги и получить взамен бурку. Я знал это место как свои пять пальцев, взял деньги и наутро, в воскресенье, спозаранку отправился в Укири с тем, чтобы вечером вернуться, как обещал. В Укири я пошел по адресу, спросил скорняка. Мастера дома не было, но, по словам, он скоро должен был возвратиться. Ждал я его изрядно — уставал сидеть на стуле, поднимался, спрашивал в который уже раз, может мастера вообще не будет сегодня, и в который раз получал ответ: «Будет, дружище, будет!» Под конец я вышел из мастерской, сказав, что скоро вернусь, и пошел по дороге, ведущей к рынку. По пути встретились знакомые ребята, но в беседу я не вступал; заглянул в тир, Джаго, хозяин тира, бросил на прилавок пули. Рядом стрелял знакомый парень, и я спросил, не видел ли он Жучка, таким тоном, словно мы с Жучком были закадычные

---

Мурман Джгубуриа. В тени грушевого дерева...



друзья или у меня к нему было важное дело. «Арестовали, — ответил он, — сдавали на месте». Весть эта удивительно как меня огорчила, но когда в кармане достаточно много денег, огорчение быстро улетучивается.

Потом я почти весь вечер присутствовал на «концерте» Мачитиа, знаменитого игрока в кости, его заставляли выбрасывать кости из стакана или это делал вместо него кто-нибудь другой, а он стоял и с важным видом что-то высчитывал; в тот вечер он играл с каким-то парнем. От места, куда требовалось бросать кости, Мачитиа отступал на десять шагов и кидал оттуда, ко всеобщему удивлению добываясь нужной ему игры. Парень проиграл, и игра закончилась. Рынок закручивался. Дежурный засвистел в свисток, народ расходился. Тогда Кичойя, сын Джагу, хозяина тира, как бы между прочим сказал, что идет с приятелем играть в «очко» и не хочу ли я пойти вместе с ними. Мы вышли и по главной улице поднялись к старинному строению.

В игре я не участвовал, стоял и смотрел, как выигрывал Кичойя, как небрежно сметал ворох измятых бумажек и запикивал в карман. Погодя он предложил мне вступить в долю и, не дожидаясь ответа, взял у меня все деньги на «авось понадобятся». Я их отдал, решив про себя не брать из доли ни копейки. Карты сдавались быстро. Порой Кичойя позволял мне заглянуть. «Посоветуй, — говорит, — на сколько пойти?». Помню, он держал туза. «Давай, — отвечаю, — чего бояться». Он прикупил короля. Пятнадцать. «Уменьши», — попросил Кичойя. «Поздно уж», — отвечают. Сдали еще раз. Кичойе выпала девятка — «погорел». Он проигрался в пух и прах. «Как везло, однако», — сказал он с сожалением. «Ничего», — утешил я его и пошел восвояси. Метров за двадцать до дома меня вдруг осенило, что сын хозяина тира проиграл намеренно — они были в сговоре, он и его партнеры, и шутя забрали все мои деньги. Я собрался было вернуться (если не одолею голыми руками, камнем разможу голову), но этим делу не поможешь — у игры свои правила, и денег мне уже не возвратит. Не всякая правда та, которую мы считаем правдой, есть нечто более прочное и истинное, ни во что не ставящее ва-

шу правоту — неписанный закон, который тверже и основательней всех законов; Пуху Саданиа одалжила людям девятьсот рублей и через месяц получила тысячу. Это был закон, преступить его никто не мог. Закон игры создавал не один человек, но целые поколения людей, закон совершенствовался и прочнел. Не Пуху Саданиа придумала одалживать девятьсот рублей и брать через месяц тысячу, не Пуху, а люди, народ.

— Не я это выдумала, — говорила Пуху, — так повсюду и будет, пока люди в этом нуждаются.

Однако между государственным законом и законом Саданиа была разница и весьма, на мой взгляд, существенная — нарушивший государственный закон мог после наказания восстановить свое доброе имя; закон Пуху навечно объявлял своего нарушителя персоной нон грата. «Государственный закон, — говорила Пуху Саданиа, — должен быть таким, как мой. А вообще-то, говоря по правде, я за такое государство, которому законы не нужны... Где много законов — там и преступлений много». Так говорила Пуху Саданиа...

Мать, узнав обо всей этой истории с игрой в «очко», была поражена и огорчена до крайности; она как-никак надеялась, что я приживусь на отцовской родной земле среди многочисленной родни, и вот тебе, все надежды ее развеялись вмиг. Как бы там ни было, она, видно, решила еще раз попытаться счастья, где-то заняла деньги (у Пуху, наверное) и наутро сама отвезла меня в Окуми. Прекрасно помню весь тот день. Мать поднялась ни свет ни заря. Моросило. Она надела галоши и вышла. Сносившиеся галоши шлепали по мокрой земле. «Хотя бы галоши себе купила, горемычная ты», — сказал отчим, когда мать в поисках денег, в сотый, верно, раз возвратилась обратно ни с чем. Кегва Саная неподвижно сидел перед дощатым домом, скручивал тонко нарезанный табак в толстую сигарку и дымил не переставая. У жены что-то твердо было решено, и муж не вмешивался, молчал все утро, как обиженный ребенок. «Хотя бы галоши себе купила, горемычная ты!» — все, что он сказал, ни слова больше. Утро было прохладное, дождливое, туман скрыл вершины

---

Мурман Джгубурна. В тени грушевого дерева...



Кавкасиони, метрах в десяти от дома ничего нельзя было различить. Кто-нибудь из соседей, выгоняя козину на пастбище, приближался к забору, здороваясь, узнав фигуру Кегвы Саная, и проходил мимо, «Который теперь час, который час, хотела бы я знать?» — то и дело говорила мать, ни к кому не обращаясь, и продолжала приготовления к отъезду. «Как же это я с пустыми руками в Окуми появлюсь? Столько времени там не была... Ой, как же это я о шерстяной косынке забыла, на что она мне, пропади я пропадом».

Погода в Окуми была солнечная. Дома застали мы тетушку Ольгу. «Ой, Нано, ты ли это, родная», — она обрадовалась и удивилась ее появлению. «Ты почему вчера не приехал из Укири, Миха? — спросила она между прочим и, не дожидаясь ответа, завела мать в дом, — скоро и Баги вернется». О чем они говорили, не знаю, вопросов мне не задавали никаких. Вернулся дядя Баги, снял китель плотного сукна, оделся по-домашнему, велел мне принести циновку с мутой и лег на бок во дворе под деревом. Моя мать сидела у его ног на табуретке с тополиной веткой в руке. Я присел тут же на корточки. Они разговаривали о разных разностях, о бурке, однако, не было сказано ни слова. День был знойный и душный без признака ветерка; «Вчера в Окуми шел дождь, — сказал Баги, — так всегда после дождя». С деревьев падали плоды, мухи и шмели с жужжанием на них набрасывались, раскаленный воздух гудел. Баги одолевала дремота. «Измучила жара. Времени на отдых никакого», — пожаловался он и заснул. Мать подняла с земли тополиную ветвь и начала помахивать ею, как веером, над головой спящего, я следил за движением ветви, прислушивался к шелесту листьев и после каждого взмаха ощущал приятную прохладу.

Мать, казалось, что-то хотела сказать Тутарнастаршему, но не решилась, Баги был старше лет на двадцать, и он сам, верно, лучше знал, какое принять решение. Мать несомненно это чувствовала и молчала. Молчала, помахивала маленькой тополиной ветвью, и слышался шелест листьев, и поведение матери походило на изливание души, так и оставшейся в тот день замкнутой. Мир тогда словно разделился на две части. На одной стороне было пекло, на другой — прохлад-

ная тень, между ними задумчиво сидела моя мать и помахивала тополиной веткой над головой человека, спокойно спящего в тени. Солнце приближалось к реву, мать отодвигала табуретку дальше в тень, но солнце продолжало наступать, и вскоре снова приходилось передвигать табуретку; когда солнце подступит к Баги, из дома выйдет тетушка Ольга со своей старшей дочерью, я и мать встанем, ухватимся все четверо за края циновки и с превеликим трудом втащим дядю Баги в тень, — в общем, мир и для Тутариа-старшего не был слишком благоустроенным.

Под деревом оставался пятачок тени, спящий человек это почувствовал, поморщился и открыл глаза.

— Горит мир, будь он неладен, — сказал Баги.

Мать, как бы извиняясь, отодвинула свою табуретку назад, в солнце, из почтения уступив Тутариа пятачок тени. Дядя Баги поднялся, поднялась и мать, и мы все вошли в кухню.

Прощание было грустным и искренним, все плакали, даже дядя Баги, хотя и без слез, а плакал; знаю, у него сердце разрывалось на части; знаю и до сих пор не могу понять, почему он не предложил мне остаться.

Поздно вечером мы с матерью приехали в Укири.

Как же быть дальше? Мать думала-думала и решила отвести меня к Чонто Кириа. Чонто Кириа приходился ей дядей, точнее он был мужем ее тети Нины, удивительно красивой и привлекательной женщины, младшей сестры моей бабушки, той самой, которая в бытность нашу в Окуми приставала в одну душу к моей матери: ты, Нани, красивая, мол, как это ты здесь жить будешь, никого у тебя здесь нет, продай усадьбу, поедем в Укири. Ну вот и поехали. У четы Кириа была одна дочь — моя сверстница — и трое сыновей. Двое из них служили в армии. От них часто приходили письма с вложенными в конверты фотографиями. На одной из них был сфотографирован парень в красивой форме моряка, младший Кириа, на второй — старший, в обыкновенной солдатской одежде, он служил в «стройбате». Младшего Кириа к тому времени

---

Мурман Джгубуриа. В тени грушевого дерева...



уже не было в живых, его портрет висел на стене в гостиной на видном месте. Младший Кириа выглядел таким красивым: трудно было поверить, что он умер. Мы с кириевской дочерью учились в одном классе и вместе ходили в школу. Я был способный мальчик, как обыкновенно говорят, но заниматься не любил. Книжки я читал, по большинству не имеющие касательства к школе, что очень нравилось дяде Чонто. Я любил дом Кириа, любил время, когда дядя Чонто возвращался домой со службы (он занимал какой-то важный пост и возвращался поздно). Всякий раз он непременно приносил мне книжку. «Удивительно, право, — говорил он, — Спиридон наш как будто человек ученый, а ничего не знает точно (он подчеркивал это слово), когда, спрашиваю, была написана эта книга? И знаешь, что он мне ответил? Он мне ответил, что эта книга была написана в одиннадцатом веке!». Дядя Чонто — единственный человек, которому я не солгал ни разу, и я чувствовал — если ты честен по отношению к кому-нибудь одному, не имеет значения, как ты поступаешь с остальными, но только ты не должен лгать этому одному ни при каких обстоятельствах.

Дядя Чонто вставал с постели в час дня примерно, потом сидел на мутаке перед домом, ел гоми, лобби и запивал чаем. Окончив завтрак, он мыл руки, полоскал рот, натягивал мягкие и плотно облегающие ногу грузинские сапоги, надевал на голову жокейское кепи, засовывал в задний карман брюк-галифе наган и выходил со двора. Зимой он накидывал на плечи бурку или плащ хаки и отправлялся на работу, прихватив с собой фонарь, — дорогу от укирской станции до кириевского дома, всю в колдобинах и ухабах, так размывало в дождь, что пройти ее вечером без фонаря не было никакой возможности; дядя Чонто умудрялся пройти, не вымаравшись в грязи. В субботу и воскресенье в доме царил дух подлинного праздника. Эти два дня Чонто проводил с семьей. В субботу вечером, как правило, заходил в гости его приятель Спиридо Джанашиа. Они вместе шли на охоту, у обоих были отличные охотничьи гончие и двустволки.

Дядя Спиридо входил во двор, я выносил из комнаты стулья, приставлял сиденьями один к другому, клал на них нарды и выносил еще по стулу для игро-

ков, потом садился поблизости и наблюдал за игрой. Неподалеку стоял еще один стул — на случай, если придет кто-нибудь. Я заботился об этом заранее, чтобы бы не проморгать очередного хода. Они играли на доске, но силы были примерно равные, и под конец выигравшего вроде и не оказывалось, однако зрелище было занятное, и я смотрел с интересом. «В этом году в Кисловодск еду», — сказал Спиридо Джанашиа. Дядя Чонто в это время бросал кости и взглядом изучал игральные камни, мешкал, раздумывал, как правильной сыграть. Это было для него главным — сыграть по закону, без ошибки, проигрыш не имел никакого значения. «Нарды законов не признают», — говорил Спиридо Джанашиа. «Ты говори», — отзывался Чонто.

Разговор в ходе игры шел о чем угодно.

— Сейчас вот с моря дует, это и собака чувствует. Смотри, в какую сторону она морду повернула, — и дядя Чонто вынимал из кармана пачку папирос «Казбек», доставал папиросу, несколько раз стукал мундштуком о крышку коробки, совал папиросу в рот и чиркал спичкой. Видно, он питал отвращение к запаху, исходящему от спички, и, прикурив, тотчас вынимал папиросу изо рта, откидывал голову назад и только погода затягивался глубоко и жадно, выпуская дым изо рта и продолговатых ноздрей. Стряхнув пепел, он клал зажженную папиросу на край игровой доски и кидал кости. Слабый синеватый дымок тянулся от папиросы вверх, легкий ветерок относил его в сторону, сбивал с пути, дымок растекался вширь, касался на миг белого кителя Чонто и развеивался в воздухе. А Чонто Кириа и Спиридо Джанашиа с прежней увлеченностью продолжали игру. Если бы они о чем-нибудь заговорили в это время, это было бы что-нибудь вроде «в этом году в Кисловодск еду», что-нибудь, напоминающее об отдыхе и покое. Налюбовавшись игрой и игроками, я забирался на ближнее инжировое дерево, собирал спелый инжир на большую плоскую тарелку и ставил перед ними. Они ели медленно, катали кости и ели, получали удовольствие, а не труди-

---

Мурман Джгубуриа. В тени грушевого дерева...



лись, ели не так, как говорил дед Свимо: «Еда-то еда, а стоит труда». Тарелка с инжиром вписывалась в «нарды». Игра продолжалась.

᠑᠕᠒᠑᠑᠑᠑᠑᠑  
᠑᠒᠑᠑᠑᠑᠑᠑᠑᠑

\* \* \*

С наступлением летних каникул я вернулся к прежнему своему занятию — перепродаже папирос. Ни дядя Чонто, ни мать, ни бабушка Луца с дедом Свимо, к которым я снова переехал (как мне думалось, на недолгое время), не располагали лишними средствами, одевать и обувать меня было некому и не на что: все имели ровно столько, сколько требовалось, чтобы прокормить себя. Перепродажа папирос сулила больше выгоды, чем торговля фруктами, если, конечно, они не появились бы в магазинах. Выручку я относил домой. «Деньги на пропитание Миха домой вносит», — с укоризной сказала как-то мать Кегве Саная. Ее тон был мне неприятен — я жалел отчима из-за его доброго и чуткого до боли сердца. Он злился и обижался, как ребенок, и кто знает, как переживал упрек жены! «Может, я чужое дитя угнетаю», — думал он, должно быть, про себя — злая или мстительная мысль не могла прийти ему в голову. «Плохо с тобой обращается Кегва?» — спрашивала меня тетя Нина. «Странный мальчик этот Миха, — говорила она соседке, — ни за что не скажет плохого об отчине».

\* \* \*

— Пускай Дарандиа за Тутариа поухаживают, или их убудет? Велика важность один рот прокормить, господи боже! — тетя Нина обычно говорила «желудок набить», но в этот раз она сказала «рот прокормить». Дядя Чонто сидел на балконе, перебирал янтарные четки, молчал, то и дело поглядывая в сторону калитки, казалось, вовсе не слушал жену. День был воскресный, а Спиридо Джанашиа не показывался. «Пускай Дарандиа за Тутариа поухаживают», — тетя Нина подчеркнуто произносила фамилии, и слова ее звучали как приказ: «Пускай Дарандиа за Тутариа поухаживают!». Акцентации этой я тогда не заметил — или не обратил внимания, хотя хорошо понимал смысл сказанного. Эти две фамилии имели для меня почти одинаковое значение — я говорю почти, потому что

Тутариа был я и никто другой, разговор касался лично меня, и поэтому фамилия Тутариа в моем сознании была ближе и родней. Именно тем и различилось в то утро две фамилии, хотя в действительности дело было в другом: Тутариа, судя по тону тети Нины, превосходили Дарандиа, но почему — этого она не объясняла, не говорила, просто акцентировала фамилии. «Пускай Дарандиа за Тутариа поухаживают», «пусть будут добры и поухаживают. Велика важность один рот прокормить, господи боже». Последние слова произнесены были, так сказать, для очистки совести. Они смягчали ударения, проставленные на фамилиях, подслащивали их, и это понадобилось потому, что слушатель, Чонто, склонил голову и посмотрел на тетю Ни-ну, когда она произнесла первые четыре слова. Соответственно взгляду, брошенному в ее сторону, изменился и тон речи, слова зазвучали в новой, непринужденной и мягкой тональности, как будто речь шла о самых обыденных вещах, что-то вроде «милый, принеси мне, пожалуйста, ложку» или «попробуй, дорогая, варенье» и прочее, подобных слов не перечесать, но на произнесение первых четырех слов ушло столько энергии, сколько ушло бы ее у мужчины на то, чтобы всадить три здоровенных кола в скалистую почву. Потом дело пошло — ко вбитым в землю кольям был прикреплен ажурный забор из легких ивовых прутьев.

Затем тетя Нина беседовала с соседкой по двору.

— За Апакиа, говорит, хочу отдать, господи боже, сама-то какого роду, скажи на милость.

— Знаю, Нина, душенька, о ком ты, но ведь и покарал ее бог, сама видишь, что природа делает, состарилась в девках, кто теперь возьмет в жены дочь Саданиа!

— Нет, подумать только, за Апакиа, говорит, замуж хочу отдать, слышала когда-нибудь такое?

— Разве фамилия имеет значение, Нина, душенька, если бы не заладила Като Саданиа — Апакиа да Апакиа, может, уже и замужем была бы, пригожа ведь и лицом и станом.

— Я и говорю, Фенна, дорогая, что имеет значение фамилия.

---

Мурман Джгубуриа. В тени грушевого дерева...



— Какое такое особое значение в наше время — разъярилась тетушка Фениа и вонзила в Нину коло- чий взгляд своих маленьких круглых глаз.

— Сейчас не имеет, — спокойно отвечала тетя Ни- на, — а раньше имела, сейчас, сама видишь, фамилии Хвитиа и Кириа ничем не различаются, но раньше не так было.

— И наша фамилия не менее значительна, чем Кириа, — сказала тетушка Фениа, — Нина, душенька, небось слышала про Володю Джикиа? Я не потому говорю, что он наш однофамилец.

— Кто не слышал о Володе Джикиа, дорогая!

— Ну и какой он был человек?

— Большой человек был Володя Джикиа, но фа- милия у него все же Джикиа была, а не Хвитиа. Фа- милия все же другое, я вовсе не хочу вас унизить, но что фамилия особое значение имеет, доказывать не надо. Вот ведь этот мальчик, он по фамилии Тутариа, и его отец был Тутариа, и его дед, а теперь спроси, что за человек был Нико Тутариа, я хочу сказать, ка- кой он человек был? Вот. А что из этого мальчика выйдет, не знаю. Это другое дело.

— Он вроде прилежный, книги любит, чего еще требовать от ребенка?

И я почувствовал, что сидеть и прислушиваться нет никакой необходимости: тетя Нина не хотела хвалить меня в лицо, но тогда ей, вероятно, необходимо было упомянуть мою фамилию, и потому она меня хвалила, то есть не меня — она с похвалой отозвалась о фами- лии отца, и в какой-то мере это означало похвалу в мой адрес. Потом я узнал, что Джикиа в наших краях прозвали псарями, Дарандиа — лобиошниками (мясо для них было роскошью), Хвитиа же, по словам тети Нины, были дворяне, в придачу молодцы, конокрады прославленные. Были времена, когда в Мегрелии ко- нокрадство почиталось за молодечество, даже песню сохранил фольклор, песню о том, что нет ничего луч- ше, как не спать ночь напролет и, угнав коня, на рас- свете завалиться в кусты. Есть в этой песне налет гру- сти, несмотря на ее частушечный строй, только глубо-

<sup>1</sup> Апакиа — княжеский род.

ко затаенной. Я читал «Мацн Хвითი»\* и радовался, что был сыном своего края, ступал по той земле и бродил по тем местам, где некогда побывал Мацн. Его именем родители нарекали своих сыновей, именем его возлюбленной, красавицы писаной, называли своих дочерей. Однако народ был несколько обижен на автора книги — в их глазах Мацн был героем куда более славным и конокрадом куда более удалым, чем представлен в книге, но недовольство недовольством, а книгу буквально вырывали друг у друга из рук, я читал и перечитывал ее раз, наверное, десять, и единственное о чем мечтал — сделаться знаменитым конокрадом. Однако времена теперь были иные. В Укири соорудили ипподром, по субботам и воскресеньям всадники в красных камзолах скакали на лошадях местной породы. В нашем квартале жил некий Ута Арканиа, он скакал марулу, скачку на длинные дистанции по пересеченной местности, болели мы за него на скачках — больше некуда. Одет он был в красную рубаху, синие брюки галифе, мягкие грузинские сапоги плотно обтягивали мускулистые икры, лоб был повязан куском красного сатина. Ута с гиканьем мчался по кругу, постепенно убыстряя аллюр, и кричал что есть мочи, особенно на последнем круге, и мы не сомневались, что он первым пересечет линию финиша. После скачек мы сами становились наездниками и вопя носились на палочных конях по кварталу. Хвითი и Арканиа... собственно, именитыми и достойными уважения были фамилии, а не имена. Фамилия вечна. Отец Уты Арканиа тоже был Арканиа и звали его Эстатэ, дед тоже был Арканиа, бог весть как его звали, думаю, сам Ута не знает имен своих дальних предков, но фамилия у них у всех одна — это ясно, фамилия древняя, она остается и пребывает, имена улетучиваются из памяти. «Все они шлюхи, дружище, женщины этой фамилии», — сказал Джоко Саданиа и, как говорится, умыл руки. Теперь Герма Саданиа самолично должен был решать, приводить или не приводить в

---

\* Роман Антона Пурцеладзе, грузинского писателя начала XX века.

---

Мурман Джгубуриа. В тени грушевого дерева...



жены женщину этой фамилии, все зависело от него. Фамилия остается и пребывает, потому вокруг Хвита создан определенный круг, и, чтобы в него <sup>зайти</sup> вхожим, требовались некая узаконенная нравственность и знания, иначе не открыли бы дверей, а если бы и открыли, сказали бы, что принимать не велено. Но существовала и такая дверь, в которую ты бы не постучался никогда, дверь эта подвешена была не для тебя и ты не сумел бы войти в нее — старайся хоть всю жизнь. А Като Саданиа хватала свою дочь за руки, возила с собой, как на привязи, глаз с нее не сводила и, куда бы ни пошла, к соседям ли, к родственникам ли, повсюду кстати и некстати вворачивала в разговор, что никому не отдаст свою дочь, кроме как человеку из рода Апакиа. А девочка Таи сидела рядом, погрузнев, и не понимала, чего от нее требует Като Саданиа, ее пестунья, сидела молча, не говоря ни слова, — Таи, еще не вступившая в пору зрелости. Я не был свидетелем всему этому, но оно наверняка было так.

И вот уже была осень, и хотя поздняя осень, возраст не столько был заметен, но все равно поздняя осень была, и ветер вот-вот пронесся бы над голыми полями. А тогда — стройное деревце росло у забора и во все глаза смотрело на проселок и махало хрупкими ветками. Круглое, веснушчатое лицо Таи притягивало прохожих, подбивало подойти и коснуться ее, но Като Саданиа была начеку, выглядывала из кухни, звала ее в дом, и парням ничего не оставалось, кроме как выдумать, будто у них какое-то дело к вдове. Деревце росло, расцветало, но забор был крепок. Теперь стояла Таи Саданиа рядом со своей пестуньей и без интереса слушала ее беседу с соседями.

— Хочу Апакиа, — сказала и конец, — не выдам замуж, или не моя воля?

Апакиа в наших краях не проживали, говорили, что представители этой фамилии живут где-то в Абхазии, и с какой стати кто-нибудь из них сюда бы наведалься, откуда им было знать о Таи Саданиа и до дурости страстном желании ее матушки Като Саданиа. А время делало свое дело.

— Меня время состарило, Миха, дружище, — говорил Джоко Саданиа, — время, оно кого не соста-

рит. Все уйдет, запомни; это дерево еще будет расти, подольше нас с тобой расти будет, но все равно упадет; видишь, как постарела кобыла Како, еле ноги волочит, такова жизнь. Ничего не останется, но имя останется, фамилия останется, останется все, до чего мы не можем дотронуться рукой, останется Маци Хвйтиа, ты ведь слышал о нем, о Маци Хвйтиа. Его нет, но он — есть, удалые молодцы были Хвйтиа, украдут коня здесь и продадут в Самурзакано. Украдут коня там и продадут здесь, что же до сволочи-времени, помнишь, Миха, я говорил тебе прежде, было оно свидетелем рождения мира, первое утро видело время, и последнее утро оно увидит.

Като Садания слушала Джоко с таким видом, будто все эти слова набили ей оскомину, но она слушает из почтения к человеку своего рода и еще потому, что говорит мужчина («мужчина говорит — женщина слушает»), — Като Садания испытывала уважение к словам мужчин. Меня для нее не существовало, не в пример Джоко, который не считал унижительным делиться своими мыслями с мальчиком.

Като Садания сидела на деревянных ступеньках лестницы и, подперев левой, сжатой в кулак, рукой подбородок, смотрела на закатное солнце; черный платок, накинутый на колени, укрывал ее ноги. Солнце опускалось быстро, и с наступлением сумерек Като Садания, казалось, уменьшалась в росте, и своей исхудалой, слабой шеей и черным платьем, сгорбленными плечами и маленьким морщинистым, птичьим лицом, едва различимым в темноте, становилась похожей на ворона — вот-вот каркнет и взметнется в воздух. Ей было холодно, сырость пробирала до мозга костей, но лень было поднять обессиленное тело.

— Подойти сюда, милый, — позвала она неожиданно, протянув руку в мою сторону.

Я встал с лавки и остановился перед ней.

— Дай руку, — сказала она строго, вытянула вперед левую руку, ухватила меня за рукав рубахи и повела вверх по деревянным ступеням на балкон. Возле угловой комнаты Като Садания отпустила мою руку и вошла внутрь. Двери комнаты были открыты.

---

Мурман Джгубуриа. В тени грушевого дерева...



Посередине ее стоял стол, длинный старинный стол, на столе — графин с водой, пустой наполовину, и графинный чайный стакан. Я повернулся и пошел. Странная была старушка Като Саданиа.

— Пойди к Джоко, милый!

— Некогда мне, бабушка, уроки учу, вон Хинту явился, его и пошли.

Как бы не так.

— Ты позови, позови, тебе говорят...

Она умела настоять на своем, Като Саданиа. Ей было немногим меньше века, она всем надоела, и взрослым и детям, но обидеть или ослушаться ее никто не смел. «Като Саданиа сказала», «Като Саданиа попросила», «Като Саданиа послала» — слова эти были всемогущими и магическими. Мертвого и то приходилось упокоить по указаниям Като Саданиа. «Так это, судари мои, принято», — и точка. Что же касается смутных пересудов относительно происхождения Като, возможно, была в них правда. Отец Като Саданиа прислуживал князю Дадиа\*, и когда в его отсутствие молодая жена Саданиа оставалась дома одна, к ней навевывался некий дворянин, по слухам, человек Дадиа. Так говорили в квартале Саданиа, но исключительно между собой и исключительно носящие фамилию Саданиа. Саданиа перешептывались с Саданиа — ни в коем случае с пришлыми, чужими. Так вот, Като Саданиа, оказывается, родилась после этих редких посещений дворянина по фамилии Гегелиа, в самом деле, Саданиа как будто не очень были по душе Като.

— Жизнь идет вперед, — говорила она Джоко Саданиа, — вместо того чтобы кто-нибудь из них выучился грамоте, считать выучился и лавку открыл, праздно время тратят; ни один из них, пропади они пропадом, приличным торговцем стать не сумеет, не вечно будет сбывать свой товар женщина у моста через Синцу. Настанет время, люди поймут, как мало осталось до базара пути, и конец, государь мой, каким же тогда образом Саданиа себе пропитание добывать будут? Своего хозяйства у них нет, надоя с одной коровы одному человеку не хватает. Одна груша растет,

\* Дадиа — так называли владетельных князей Мегрелии Дадиани.

урожая этой груши ждут, покарай их бог, и урожай  
созреть не дадут, их желудки непременно неспелые  
груши должны переваривать. И поделом!..

\* \* \*

Было далеко за полночь. В домах погашены огни, тишина царила в квартале, только в доме Ануцы Саданиа горел свет. Ануца наша соседка. Я неминуемо должен пройти мимо ее небольшого двухкомнатного дома. Ануца живет одна. Она красива. У нее блестящие, как звезды, глаза и длинные ресницы. Лампа горела в маленькой комнате. Ануца Саданиа не спада, видно у нее был гость, иначе почему она керосин изводила бы. Гости у Ануцы Саданиа были частые. Гостили у нее мужчины средних лет из разных уголков Укири, молодые парни, люди самых разных профессий и занятий. Порой являлись гости из самого квартала Саданиа, по большинству из пришлых, недавно здесь поселившихся, безбородые юнцы, еще не вкусившие запретного плода. Рано утром осунувшиеся мужчины, с темными кругами под глазами, покидали углый домишко. Мать моя ужасно боялась, как бы ее чадо не влипло в скверную историю, горела желанием предупредить меня, чтобы я не связывался с Ануцей, не заводил знакомства с ее дружками, однако вслух ничего не говорила. Ануца-то была той, кем была, только местным кумушкам этого казалось мало, приписывали ей бог весь что: так, мол, и так, больна она дурной болезнью, жила некогда на чужбине, ничего лучше оттуда не привезешь. В лицо такого ей не говорили, правда, не осмеливались, побаивались ее поклонников. Перед домиком Ануцы стояли две машины — грузовая и легковая. Они были знакомы всем. Известны были имена, отчества и фамилии водителей, места работы, а также имена их жен, обо всех переговорено было не раз на лавке под навесом, у забора одного, другого, третьего соседа, вечерней порой в ожидании очередного прохожего, который пробуждал тысячи воспоминаний, давая выход запруженному в душах желанию посудачить. И развязывались мешки, лущили и сыпали в мешки пустые, полые слова, сколько же их

---

Мурман Джгубуриа. В тени грушевого дерева...



требовалось, чтобы мешки наполнились, а наподнялись все-таки, валились набок и тотчас торопливо опустошались — вытряхивалась из сердца ненужная груда, и спешно расчищалось место: новый человек показывался в начале проселка. Мешок снова наполнялся и снова валился набок. Время шло. Сгущались сумерки. Вечер уходил в ночь. Голоса становились приглушенней. Слышался плач ребенка, и начинался расход («идти пора — ребенок плачет, слышу»), уходила первая, вторая, третья, четвертая, длинная лавка постепенно пустела, две-три женщины, очевидно из числа наиболее угнетаемых воспоминаниями, перемалывали все сначала, боялись оставить неразжеванной малейшую подробность; уходила еще одна, и две оставшиеся живо толкли воспоминания о ней, пока невзначай не набредали на самих себя. Тут разговор обрывался, последняя прощалась с хозяйкой скамьи и семеняла по проселку. Квартал Саданиа засыпал. Наступала тишина, но ненадолго, звук автомашины из Укири нарушал ее. Машина, как по заказу, в один и тот же час подъезжала к дому Ануцы и сигналила. Я к тому времени лежал и с замиранием сердца мечтал о дне, когда стану достаточно взрослым и, подъехав на своей машине к дому какой-нибудь красавицы, просигналю на зло местным сплетницам.

...Тишина царила в квартале Саданиа, в домах были погашены огни, только в доме Ануцы горел свет. Она жила одна, но, как мне казалось, ни за что не осталась бы ночью в одиночестве: как бы она скоротала долгую ночь, испугалась бы, а то и ворвался бы в дом кто-нибудь незнакомый, впрочем Ануца Саданиа не дала бы себя в обиду...

В отличие от других представительниц ее ремесла Ануца чуть ли не каждый год рожала детей, перепоручала их родственникам или отдавала в бездетные семьи. В пору, о которой рассказ, Ануца была бездетна — дети, к великому удивлению соседей (что женщина рождает детей), пошли позднее и друг за дружкой. «Скажи, бога ради, Ануца, кто отец этого ребенка?» «А что мне, Нани, тебе ответить, когда я и сама не знаю!» — отвечала она откровенно и простодушно на вопрос моей матери... «А похожа на тебя эта девочка очень!». Про одного из ее сыновей сказано было с

уверенностью, вне всяких сомнений, кто его отец, <sup>но</sup> сказано про себя. Отец жил по соседству, считался человеком препорядочным и, ясно, никто бы не осмелился обвинить его в блуде, по крайней мере вслух. «Я у него алименты должна была потребовать, Нани, от него мальчик, истинная правда, только не могу — весь свет узнает, не хочу, сама своего сына выращу!»

В комнате Ануцы Саданиа горел свет. «Гость», — мелькнуло у меня в мыслях, и осторожно, на цыпочках я прошел мимо ее дома: Мне не хотелось нарушать их уединения, мешать не хотелось: меня радовало, что Ануца не спит в эту позднюю и темную ночь, что она не одна, что у нее гость...

Я вошел в дом. «Миха, это ты, сынок?» — шепотом спросила мать. Я промолчал, быстро разделся и нырнул под одеяло.

Отчим спал, храпел громко и протяжно. Неприятное чувство овладело мной: чувство человека, который никак не может понять, откуда взялся в его комнате незнакомый человек и что ему здесь надо? Почему он храпит в чужом доме протяжным храпом? Почему оставил семью и ребятишек?

Кегва Саная был чужим в доме (он это чувствовал), сейчас, когда я лежал в постели и слышал его храп, он стал еще больше чужим, точнее сказать, все стало для меня чужим, как будто я лежал не дома, а в гостях неизвестно у кого; мать, словно угадав мои мысли, встала и подошла к мужу. «Кегва... Кегва... — прошептала она, — повернись на правый бок, Кегва», — и, должно быть, добавила про себя — «не даешь спать ребенку». Мы были одной крови, я и мать, и я слышал все, что она хотела сказать или говорила про себя.

Я лежу с открытыми глазами и слушаю, как храпит Кегва Саная. Целых десять лет прохрапел Кегва Саная в доме матери, на одиннадцатый мать слегла. Шесть лет она мучилась в постели и отмучилась — одолела, унесла ее хворь. В ту ночь мы с отчимом оставались в доме одни у гроба. Кегва Саная молчал, молчал и я, впрочем беседовать нам было не о чем. Полуночная тишина навевала тысячи мыслей, молчание

---

Мурман Джгубуриа. В тени грушевого дерева...



становилось невыносимым. За какую-нибудь минуту передо мной пронеслась вся жизнь: Окуми и Куми, квартал Тутариа и квартал Дарандиа, Укири и его улицы, Саданиа и наши домочадцы; все уместилось в одну минуту, весь мир, вся жизнь, и неожиданно я пожалел о храпе Кегвы Саная, пожалел до того сильно, что казалось, сердце выскочит из груди. Пускай храпит, только бы исчезла невыносимая тишина, пускай храпит по-своему, протяжно и громко. Что-то изменилось во мне с той ночи, неприязнь к Саная исчезла, улетучилась, словно я никогда ее не испытывал. Неважно, нравятся или нет привычки и поступки людей, всякий поступок приемлем, если относится к человеческому, только надо учитывать, в какое время, в какую пору и минуту он совершается, какова природа этой минуты и наша натура, в каком мы настроении; ведь каждому понятно, что человек, выраженный в новую праздничную одежду, боится испачкать обновку, и даже пылинка способна его раздосадовать; слой пыли на одежде будничной ничуть не беспокоит, ее и не замечают, собственно. Кегва Саная, семидесятилетний старик, сник, упал духом. Он плакал не переставая, плакал в голос, душераздирающе.

Кегва Саная любил природу. Он часами любовался молодыми деревцами, посаженными его рукой, никогда не дотрагиваясь ни до ветки, ни до листочка, словно боялся помешать их росту. Он подходил, останавливался поодаль, что-то бормотал, и душа его пела. А случалось, деревце клонилось, сгибалась ветвь или искривлялся ствол. Кегва, выждав соответствующую погоду, выпрямлял его, тщательно перевязывал место сгиба, подставлял подпорки. Погода при этом должна была быть спокойной, безоблачной, не жаркой и не холодной, такой, которая не принесла бы саженцу вреда, не обидела бы его, не испортила бы его природы, и оно продолжило бы свою жизнь красиво, без боли и принуждения.

...Особым светом озарено было чело земледельца; губы его улыбались безмятежной, открытой, всепрощающей улыбкой, и жизнь его лежала на раскрытых ладонях его. Жизнь — прошлое и будущее, весь мир, раскинувшийся вокруг. Лицо скромного аптекаря, который открыл целительное снадобье, и теперь ему ра-

достоинство исцелять больных. Лицо, не сравнимое ни с чем, кроме вечности, отпечатанной на быстротечной жизни. «Я, дети, потому покинул семью, что не иначе», — ничего не надо объяснять, слова излишни, нет разницы между молодым и старым деревом (дерево и дерево), но молодому уделяется больше внимания, потому как оно того требует, оно нуждается пока в помощи. Свимо Дарандиа любил домочадцев особой любовью, он их выделял, Кегва Саная не делал различия между детьми вообще. Такой же была Ануца Саданиа.

Шлюхи вроде поэтов — претендуют на принадлежность всем, Ануца Саданиа не была исключением. Я заискивающе смотрел ей в глаза, однако вовсе не тая надежду на то, о чем может подумать читатель, и не потому, что она не глянула бы на меня, ребенка, — в ту пору я не казался себе маленьким. Дело, которым я занимался, родило во мне чувство независимости и гордости. Я вносил в семью деньги и день ото дня рос в собственных глазах, становился капризней, злился как взрослый, не возвращался с вечернего базара домой: шел с недавно вышедшим из тюрьмы Жучком в гости к какой-нибудь из женщин, что изо дня в день стояли на вечернем базаре, у нее, понятно, гостила подружка, и мы коротали ночь за водкой, купленной на том же базаре. Помню вкус впервые выпитой водки, помню, с каким показным удовольствием осушил стопку. Жучок, впрочем, это понял. «Впервые пьешь, парень?!» — усмехнулся он, а я только и думал, как бы Надя не заметила, но, однако, помню, какими глазами она взглянула на Пашу, — Надя почувяла, я не только водку пью впервые, но и впервые оказался в подобной ситуации. И она смотрела на меня, как кошка на птичку в клетке или как человек — на птичку, которая случайно залетела в комнату, и не знаешь — отпустить ее на волю или оставить дома. Клетку эту не мог разглядеть глаз человеческий, она была незрима, но невозможно было ее не почувствовать. Колени дрожали, и потому, верно, приходилось часто-часто вставать со стула и стоя пить тост. Жучок снял

---

Мурман Джгубуриа. В тени грушевого дерева...



рубаху и небрежно швырнул ее на постель. Паша <sup>по</sup>няла ее, перевесила на спинку кровати.

Стояла жаркая августовская ночь; <sup>мошкар</sup> <sup>бес</sup> новалась вокруг лампы; маленькая комнатка-улитка, пристроенная или прилепленная к большой комнате, была пропитана вонючим запахом рыбы и водки. Тускло светила лампа, и комната ползла, покачивалась из стороны в сторону. В глазах двоилось, мысли скакали с пятого на десятое, пока не собрались в одну, и эта одна застряла в голове. Помню, Надя подняла меня на руки и уложила в постель. Жучок с Пашей давно уже лежали. Мы с Надей остались одни. Я вдруг вспомнил деда Свимо и потребовал принести таз и вымыть мне ноги, как это делал старик перед сном.

Надю я и прежде видел на вечернем базаре, но мне и в голову не приходило, что когда-нибудь случится провести с ней ночь, такие мужчины обыкновенно с ней разговаривали. Утром следующего дня какой-то дядька меня подозвал, взял папиросы, расплатился, положил мне руку на плечо и сказал, словно попросил, чтобы я не ходил туда больше: «Не ходи, — говорит, — если меня уважаешь, ведь ты меня знаешь», «Как не знать, — отвечаю, — дядя». «Потому-то я тебя предупреждаю, ты меня не пойми, пожалуйста, превратно, не ходи туда больше, с Жучком сам договорюсь, он все знает». Я понял, кого имеет в виду этот мужчина, и почувствовал — на вечернем базаре со мной считались, я вроде был уже другой Миха, вроде бы вырос внезапно, мне советовали, даже просили, не обижайся, мол, но не ходи туда-то и туда-то. Верно, это было вызвано еще и тем, что я был знаком с Жучком и вместе с ним ходил туда, куда меня просили не ходить. Жучок только-только отбыл срок, весь вечерний базар относился к нему с нескрываемым уважением — все знали, если Жучок у кого-то украл, значит, у незнакомого, у кого-нибудь, приехавшего из деревни; людей вечернего базара Жучок не трогал, напротив, заступался за них, и его любили. Одинаковой была жизнь всех этих людей, схожими были их занятия. Жучок был «щипач» — вор-карманник, Паша — перекупщица, но какая разница? Я был им сродни.

После разговора с тем мужчиной, когда я внезапно почувствовал себя взрослым, я раз и навсегда бросил

торговать папиросами и пошел к Жучку в напарники. «С Жучком бегают», — говорили про меня, и это в самом деле было бегом. Воришка, он как ртуть, и секунды не останется стоять на месте, его пальцы проворны и быстры. Быстрота как бы передается телу, всему существу, человек становится неугомонным, нырнет в тесную толпу — ищи иголку в стоге сена — и вынырнет невесть где, не в пример «биржевикам» в крикливо-пестрых одеждах, которые вечно торчат на одном и том же месте, в одних и тех же неестественных позах. Лишь редкое появление Кажы Дарандиа стогняло их с облюбованного места, но только Кажы уходил, они, как испугнутая стая голубей, слетались обратно. Эта каста не могла, да и не желала, шевельнуть рукой или мозгами, взяться за дело (неважно, какое), старела на «бирже», и жизнь проходила меж рук и глаз — она, впрочем, их мало заботила. «Они, — говорил Жучок, — видят в кино то, чем мы занимаемся в жизни. Дармеды, одно слово», — заключал он.

Однажды, не помню в каком году, в Укири произошло событие, всполошившее всех: из дальних мест заключения вернулся Шарашиа — человек, которого считали давно уже мертвым. Его появление вселило в людей какой-то страх, а нас лишило покоя. Неторопливо, слегка враскачку, он шел по главной улице, и шантрапа восторженным взглядом его провожала, не осмеливаясь, да и не имея права, к нему приблизиться. Среди наших сверстников только Жучок, я и еще несколько парней могли стоять рядом с ним (я испытывал при этом счастье особого рода). Денег у Шарашиа было навалом, но в противоположность вышеописанной касте одевался он просто, ходил всегда в дешевом костюме, тщательно отутюженном и вычищенном, и одежда, из какого бы дешевого материала она ни была, ладно на нем сидела. Я понимаю сейчас — сама его личность красила ее и, что бы он ни одел, все было бы ему к лицу. В данном случае человек, его имя и манера вести себя, узаконивал вкус, создавал мнение о ткани и, представьте себе, даже о цвете. В дадиановском саду, куда Шарашиа часто навещался, он садился на край садовой скамьи, и тот

---


Мурман Джгубуриа. В тени грушевого дерева...



час же этот край становился серединой. Тогда Шарашиа вставал, говорил, что запах магнолии ему вреден, и продолжал свой путь, и мы за ним следовали, словно вдруг ощутили, как неприятен и вреден запах снежно-белых цветов.

Возле небольшого пруда посреди сада Шарашиа останавливался, подолгу смотрел на лебедей и замечал, ни к кому не обращаясь, что лебедь поет только перед смертью.

Случалось, кто-нибудь из ребят ранит своего сверстника. Однажды на моей памяти раненному ножом в живот удалось спастись, и ребята собрались на разбор дела. Каждый высказал свое мнение, в конце Шарашиа закрыл журнал, который он обычно перелистывал в саду, и без лишних слов решил, кто прав. Сидеть рядом с ним в кино было одно удовольствие: если что не поймешь — объяснит, растолкует, и все становится предельно ясным. Он встречался с самыми красивыми женщинами, и любая красotka, очутившаяся в Укири, непременно желала познакомиться именно с ним. Он не был учен, но, казалось, все знал. «Такая картина висела у той женщины, — сказал он как-то, — пол-миллиона стоила, да я не знал». В те годы в центре Укири была живописная мастерская, заходил он и туда побеседовать с молодым художником о сложностях грузинского шрифта, обсуждал ту или иную надпись, высказывал свои замечания. В мастерской были развешаны на просушку ленты для траурных венков с надписями различного содержания и размера. «Незабвенному Кириле от друзей», — гласила одна из надписей, о которой Шарашиа заметил, что тут не соблюдена симметрия. Молодой художник слушал Шарашиа, как слушают мастера, оправдывался, ссылаясь то на негодность красок, то на негодность ткани, жаловался, соглашаясь с Шарашиа, и старался перевести разговор на другую тему. Шарашиа обижался, что парень не обращает внимания на его замечания, однако трудно было понять, в самом деле ему обидно или он радуется, такая улыбка появилась на его лице, когда молодой художник начал оправдываться, ссылаясь на негодность материала. «Грузинский алфавит — один из древнейших в мире, — сказал он, выходя из мастерской, — и эти буквы вмещают целый мир». Он был не-



высок ростом, но не казался таковым из-за своей собранной походки, выпрямленных плеч, слегка приподнятых кверху и вперед, и гордо поднятой головы. Был он силен на редкость, но драться не любил. Помню, как столкнулись Шарашиа и один укирец, который в ту пору считался самым сильным среди местных силачей. «Я тебе покажу», — Шарашиа схватил его за грудки правой рукой и оторвал верзилу от земли. Удивительно, право, как ему удалось схватить противника так, что даже рубаха на нем не порвалась. Укирский богатырь ушел пристыженный, не говоря ни слова. Шарашиа играл в кости и с местными, и с приезжими, и играл довольно оригинальным способом, именно: вначале он проигрывал, и проигрывал изрядно, принимался клясть свою судьбу и день своего рождения, ругался на чем свет стоит, швырял кости, кусал себя за руку, ярился, одним словом, и проигрывал, и проигрывал. Игра, начатая утром, длилась до вечера и утомляла партнера, сам он всегда оставался трезв, больше того, будто тогда, к концу, овладевала им охота играть, охота и азарт, на сей раз неподдельный, с песнями, с шутками да прибаутками бросал он кости, стихи в придачу декламировал то по-русски, то по-грузински, насвистывал песни и, что называется, раздевал противника. Тот лопался от злости, но был уже в проигрыше, а игрок игру не бросит, и вел его Шарашиа, как собачонку на поводу, какую бы сумму ни назвал, тот соглашался, плыл по течению, раскачивался из стороны в сторону, как человек на корабле во время качки. Сидишь вот так на лошади, и не сойдешь, пока не надоест, поводья отпущены, лошадь не сопротивляется, не грызет удила, не становится на дыбы — подчинилась всаднику, знает, что ее одолели, чувствует, что покорена, и ты ее господин.

На балконе убывает солнечный свет. Темнеет небо. Проигравший с трудом поднимается на ноги, потягиваясь, встают зрители, проигравший уходит в одиночестве, победителя окружают, провожают, делают ему комплименты и постепенно расходятся по проулкам.


Шарашиа был вор, насколько мы знали, хотя, по правде сказать, я не помню, чтобы он украл что-нибудь.

---

Мурман Джгубуриа. В тени грушевого дерева...



В кости он играл, это точно. День ото дня меня все больше привлекало это занятие. Я выигрывал у своих сверстников незначительные суммы, собирал выигранные находил игрока получше меня и поумней и, как правило, спускал ему все. Дом я и вовсе забросил; нарочно сердил мать, чтобы найти повод сбежать, и убегал куда глаза глядят. Мать только и мечтала, когда мне исполнится восемнадцать, чтобы меня забрали в армию; «Там, — говорили ей, — образумится, человеком станет». Вот она и надеялась, что я вернусь из армии человеком. Однажды на вечернем базаре я увидел дядю Чонто, но смылся, да и с какой совестью я мог к нему подойти и поздороваться! Дядя Чонто вроде Баги Тутариа не разрешил бы мне остаться в его доме, не простил бы такого поведения. Может, он меня и увидел и не позвал, я об этом подумал, и захотелось плакать. Я вспоминал дни, проведенные в доме Чонто, вспоминал Спиридо Джанашиа, игру в нарды, потом картина эта начала обрастать деталями, незначительными, дышащими на ладан, где-нибудь в темноте или в тени, деталями, которые погружались в пропасть. Глаз разума моего и не пытался туда проникнуть, тьма окутывала те места, тьма, какая стоит в Джихашкарском тоннеле, который в пору туретчины соединял деревню с деревней. По нему шел человек к человеку, несли друг другу воду и слово, помогали люди друг другу, но миновали тяжкие времена, и не стало нужды в тоннеле, упразднился тоннель, обвалились своды, поросли мхом стены, отсырели, и выросла в тоннеле трава, какая бывает после дождя; снаружи была жара, а внутри царили холод и тьма непроглядная, без фонаря шагу нельзя было ступить, дрожь пробирала, и пугался человек тоннеля, не смотрел в его сторону и ходил окольным путем. «Миха бросает в чай три куска сахара», — сказала тетушка Нина. И эти слова среди прочих застряли в тоннеле, как слово или раздумья неизвестного человека, прошедшего тоннель в пору туретчины, тяжкую пору. Я не заходил в тоннель. Я предпочитал рай, раскинувшийся перед домом. Вдруг вспоминалась сочная груша или Коцо Тутариа, но тотчас забывались опять, ничего, ровно ничего не оседало в душе. А Шарашиа что ни день стоял у меня перед глазами. Я хотел походить на него; пом-



но, как мы бегали по кварталу Саданиа верхом на иррушечных лошадях-палочках и выкрикивали имена Хуты и О니ко, присваивая их себе. Хута и Онико на укирском ипподроме скакали на длинные дистанции и всегда были первыми. Точно так же одевали дети майки, выведя на них мелом имена любимых футболистов, и гоняли мяч — плод дикого мандарина. А у меня было одно желание: поступать так, как поступил бы Шарашиа при тех или иных обстоятельствах. Я выходил из машины, как выходил он, закрывал двери не глядя, не оборачиваясь, чтобы проверить, хорошо ли она закрыта, и так далее и тому подобное. Под его влиянием находились все мои сверстники, все старались ему подражать и в походе, и в игре, да ничего не получалось, настолько необычным был каждый его поступок. Тихий и спокойный, он вдруг появлялся исполненный гнева, и его обыкновенно голубые глаза были темны от злости, это был голодный и беспощадный взгляд хищника, увидевшего жертву, и ничего не помогало — ни разговор, ни шутки, ни самые затейливые истории, ни кино. «Плохо себя чувствую, — говорил он, — кажется, температура. Лихорадит». Именно в такой день, как назло, откуда-нибудь появлялся игрок и предлагал сыграть. Верно, его осведомляли о состоянии Шарашиа. Шарашиа это понимал, но все равно садился играть и ко всеобщему удивлению возвращался домой в выигрыше, возможно, он просто-напросто прикидывался нездоровым. По-своему расправлялся он с ребятами, вышедшими из тюрьмы и причислявшими себя к ворам, — он их обыгрывал до такой степени, что расплатиться в срок им было не по силам и, таким образом, приходилось отказываться от претензий на «звание» вора. Проигрывать он не любил, шел ва-банк, лишь бы выиграть. Он смотрел на все и вся глазами своего потерянного детства. Никто не видел его беседующим даже с соседями, так, дескать, и так, видел я то и это. У него словно и соседей не было, ни друзей, ни товарищей. День-деньской вокруг него вертелись ребята, но он все равно оставался человеком-одиночкой, потому играл в одиночку, никого в напарники не брал, кутилой и весельчаком его тем более нельзя было назвать.

---

Мурман Джгубуриа. В тени грушевого дерева...



Напевал про себя во время игры или насвистывая и так бросал кости. Большую часть времени его жизни уносила игра, жизнь приносилась в жертву игре. «Будь на то моя воля, — говорил Кегва Саная, — я бы его начальником милиции назначил. Вот тогда-то и был бы в Укири порядок; в глаза не посмотришь этому парню, такие у него глаза». Глаза у него были голубые, ясные, глаза мечтателя, но все же что-то указывало — видеть им недолго, что-то едва уловимое, неземное, непонятные и чуждые для других стремления таились в них, и вместе с тем взгляд его был безволен и беспомощен.

Шарашиа был быстр как пуля и невероятно силен. Он настолько был собран и готов в любую минуту ко всему, что его безвременную смерть никто себе не представлял.

Окончание следует





# В ГОСТЯХ У АНЮТЫ

## Рассказ

ДЕЛО было весной, лет десять назад. Существую я на студенческих правах первокурсницы как-то еще неустойчиво. Не прижилась еще толком, иногородняя в Ленинграде... Не прилепилась сердцем пока ни к институту, ни к своей будущей профессии. То ли погода, сырая и мрачная, после солнечного веселого юга «давила» на психику... То ли изводилась я от одиночества... То ли анатомия с ее зубрежкой и прозекторской мучила. В общем — хандрила я. И стихи не писались, не чувствовались. А если и писались, то выходило одно нытье.

Не раз, сидя у окна в малюсенькой двенадцатиметровой комнате хозяйки, у которой я снимала «угол», и глядя вглубь двора старого дома, напоминающего каменный колодец, я тосковала по матери, отцу, любимым своим подругам. Понимала ли я нелепость существования, какое вела? Конечно, понимала. Но изменить в себе практически ничего не могла.

Была в нашей группе студентка Лопаткина Даша, с которой, как это принято понимать, я дружила. На общем фоне нашего разнородного народа, живущего по принципу «кто в лес, кто по дрова», она оказалась общительной и приветливой. Лупоглазая и веснушчатая Лопаткина удивляла взор собеседника широким и выпуклым, почти безбровым лбом. Была она худошавая, стройная, подвижна и чем-то напоминала горную серну. Недаром же «козочкой» ее окрестил один из поклонников.



Не нравилось мне, что любила она присюсюкн<sup>уть</sup> и с каждым, почти без разбору, старалась быть любезной. Любезность эта шла явно от ума, поскольку частенько проскальзывала при этом у Дашки ирония и какая-то общая, неопредмеченная насмешливость. Невозможно было понять, как же она в действительности относится к тому или иному человеку.

Вот и со мной Дашка была в хороших отношениях, этаких равнодушно-слащавеньких, которые в ту пору я пуще всего не терпела. «Здравствуй, Олюшка!» — иначе она ко мне и не обращалась, а на людях любила не без ехидства подчеркнуть, что вот, мол, наша Олюшка такая умница, утонченная натура, пишет стихи, не то что она, бедная, ни к чему не способная Даша. И, черт знает почему, но я приняла этот, навязанный мне, полунасмешливый-полуласковый тон.

Прошли годы. Мы давным-давно живем в разных городах и лишь изредка, почти по инерции, обмениваемся поздравительными открытками. Но в моей благодарной памяти, связанной с Дашкиным существованием, навсегда сохранится один день.

Это был погожий день, выдавшийся как будто специально для студентов-счастливчиков, у которых не состоялась очередная лекция. Весеннее солнце, казалось, теперь уже не обманет видимостью: оно обнадеживало и предлагало поверить в свое основательное воцарение на небосклоне. Мы с Дашкой выходим за ворота института где-то после часу дня. На трамвай не садимся, а идем нешком. Воротник мой расстегнут, я без головного убора, походка легка от мягких прикосновений обвевающего ветра. Настроение удивительное, озорное начинает овладевать мною.

Мы и раньше с Дашкой совершали изредка такие прогулки. Болтали всегда о чем придется, но, конечно, ни о чем серьезном. Понятно, что серьезного и быть не могло: слишком разными мы были людьми. Наверное потому, как ни распирает меня непонятно откуда взявшаяся эйфория поделиться с Дашкой я опасуюсь: знаю, что не поймет, а еще и высмеет. Она же, Дашка, несмотря ни на что, всякий раз чутко улавливала чужое настроение, потому что, надо отдать ей справедливость, умом от природы обладала практически трез-

вым и ясным. Вот и сейчас, как будто ни с того ни с сего, она говорит:

— В тебе есть что-то общее с моей сестрой Анютой...

— Что же именно?

Дашка неопределенно пожимает плечами:

— Так сразу и не скажешь...

Начало разговора мне кажется интересным и, чтобы продолжить его, я прошу спутницу:

— Расскажи про Анютку поподробнее. Какая она? Общительная, веселая, замкнутая, печальная?

— Она, прости мне банальность, несовременна... То есть непрактична. Очень неприхотлива... в одежде, в еде... Даже, можно сказать, неряшлива. Очень непосредственна в общении... Последнее со знаком плюс и минус. То есть, если понравится ей человек, она не будет выдерживать никаких сроков, никаких приличий, никаких манер — одним шагом переступит дистанцию и вся, вся выльется на этого счастливчика или несчастного — уж не знаю, как он это воспримет. Но если кто ей окажется неугоден, то—наотрез и навсегда! ...Прямо дикая какая-то угловатость! Естественно, что ее считают странной — это в лучшем случае... А многие над ней откровенно смеются.

— Как же реагирует она на такое к себе отношение?

— Переживает, конечно, но не слишком. Самолюбива чрезмерно и переоценивает свои силы. Я делаю такой вывод потому, что ничего в себе изменить она не желает. Мне кажется, что, просыпаясь по утрам, она каждый раз чего-то ожидает и как будто удивляется, что все идет обычным своим чередом.

— Чего же она может ждать? У нее есть какие-нибудь планы?

— Какие там планы! Она совершенно не способна жить по плану, поэтому, наверное, его у нее и нет. А ждет она чудес, конечно. Чего же еще ей ждать!

Я вижу, что Дашка сердится, нервничает, и мне становится ее жаль. Но я молчу: боюсь вспугнуть неосторожным словом. Некоторое время мы идем молча. Затем Дашка опять начинает говорить:



— Она всегда в кого-нибудь влюблена... Как правило, в учителей. Но вот недавно влюбилась в девятиклассника... Если ее спросишь, разумеется, в полном доверие, Анютка всегда сумеет объяснить — за что любит, и не просто любит, а буквально поклоняется тому или иному человеку...

— Ну, например?..

— Например, тот же девятиклассник... Леня или Вова — уж не помню точно, как она его величала. Талантливый парнишка. Уже успел выставить несколько своих картин... Пишет акварелью.

— Ну и что же?

— Он был к ней абсолютно равнодушен, если только не относился с безразличием.

— Что же, она не чувствовала этого?

— Она, мне кажется, больше всего его любила именно за это равнодушие к ней... Равнодушие, которое, по-видимому, было причислено Анютой к серии его талантов...

Мы опять на какое-то время замолкаем. Мы и не заметили, как подошли к метро.

— Слушай, — говорит Дашка, — давай зайдем ко мне. У нас хорошая библиотека... Есть Ромен Роллан, ты, кажется, на днях говорила, что хочешь что-то прочесть из него... Познакомишься наконец с моей Анютой. Она в самом деле заслуживает интереса... Может, ты увидишь в ней что-нибудь иное, нежели я с родителями. Кроме того, она так же, как ты, не любит математику (еще одно сходство), но у нее в отличие от тебя во всем имеется последовательность: раз не любит, результат закономерен — одни двойки! Как у Пушкина, — невесело шутит Дашка. — Может, ты ее убедишь в том, что математика все-таки нужна людям, а не то дождется, что в выпускном классе выгонят из школы.

Дашка продолжает еще что-то говорить о моем возможном влиянии на Анюту, а я думаю о том, что никогда раньше у Дашки в доме не бывала и, поскольку дел у меня на сегодня особых не предвидится, то почему бы не согласиться на ее предложение и не взглянуть на чужую жизнь. Может быть, и свою удастся разглядеть получше.

На Разъезжей улице, где жила Дашка, мы под-

нялись на третий этаж старого серо-голубоватого здания. Дверь нам открыла девочка-подросток в мешковатом халате, которая тихо пробормотала «Здравствуйте» в ответ на наше приветствие и тут же скрылась в полумраке передней, оставив нас вдвоем с Дашкой. Я успела только заметить, что она была невысокой, склонной к полноте, а при ходьбе сутулилась и шаркала ногами.

— Это и есть Анютка! — сказала Дарья. — Она очень застенчивая, пока не привыкнет. Ты посиди тут, посмотри книги, а я чай поставлю.

Я оглядывала скромное, даже несколько ветхое убранство комнаты: старые стулья, диван с вылинявшей блекло-розовой обивкой, потертую полировку шкафа, на ровных стеллажах которого стояли аккуратными рядами собрания сочинений русских и зарубежных классиков. Среди последних я отыскивала глазами знакомый темно-бордовый переплет — Романа Роллана. Попыталась вытащить последний том, но это оказалось не так-то легко: потому что книги были плотно притиснуты друг к другу. За спиной послышались уже знакомые шаркающие шаги.

— Давайте я вам помогу! — сказала Анютка.

Тут я разглядела ее получше. Это была русоголовая, коротко стриженная девочка, у которой не было и в помине сестринской лупоглазости. Напротив: если та, казалось, своим выпуклым лбом готова протаранить мир, а глазами навывкате — вобрать, ухватить из него что возможно, то эта — все уже от природы имела с избытком. Все в Анютином лице было одно к одному: белая, очень нежная кожа, четко вылепленный небольшой нос с едва заметной горбинкой и резко очерченные, «летающие» углы губ. Пока не вернулась Дашка, мы с Анютой успели перемолвиться буквально парой фраз, потому что держалась она по-прежнему скованно, а мне не хотелось пугать ее поспешностью.

Прискакала Дашка с чаем, именно прискакала, не расплескав ни капли из до краев наполненных чашек, как будто вклеившихся в темно-синий поднос с позолотой.



— Ну, вы, наверное, уже познакомились? Олюшка, ведь Анютка все почти про тебя знает. Между прочим, выдам секрет: она специально просила тебя привести. А то, говорит, всякие дуры из твоей группы у тебя бывают, а человек, который пишет стихи, к тебе не ходит.

Дашка произносит свою тираду залпом, со свойственной ей игривостью в интонациях, перемежая слова короткими, большей частью неуместными смешками.

Достаточно привыкнув к Дашкиным манерам, я абсолютно не реагирую на нее, а невольно слежу глазами за Анютой. Анюта молчит, потупив голову, но когда она ее поднимает, красноречиво говорят глаза. Я не могу догадаться точно, о чем же они говорят, знаю единственное — о страдании. Внезапно я понимаю: ей больно и стыдно за сестру, за ее тон, за то, что выдали ее, Анютину, тайну.

— А я очень люблю Роллана и больше всего «Очарованную душу», — спокойно и отчетливо говорю в неловкую тишину комнаты.

— Правда? — вопрошают меня заснявшие глаза, и я невольно люблюсь ими, их детским смешным недоверием. Добавляю более решительно:

— Аннета Ривьер — мой любимый женский образ... до сих пор!

— Правда? — теперь уже вслух, голосом, ошалелым от такого счастливого совпадения, автоматически произносит Анюта. Мне хочется ответить ей «правда» и повторить это «правда» сто раз, но я молчу. Я боюсь, как бы меня не заподозрили в игре.

— Ну вот и спелись, нашли общий язык! — неожиданно беззлобно смеется Дашка, забыв, по-видимому, внести в свой смех обычную долю ехидства. А может быть, как я предполагала, она думает, что я подыгрываю Анюте? Однако разубеждать ее я не собираюсь, не вижу в этом толка.

Мы пьем чай. Наше «взрослое» внимание (я имею в виду себя с Дашкой) переключается в сферу студенческих интересов, а если конкретнее: мы опять ведем разговоры ни о чем.

Анюта молчит, но я постоянно чувствую ее присутствие. Взгляд ее скользит по моему лицу, как солнечный зайчик, но не слепящий и надоедливый, пущенный чьей-то озорной рукой, а деликатный и застенчивый,

исподволь согревающий своим перебегающим и нежным теплом.

— О, Лазарев — тонкий мальчик, интеллигентный, — мурлычет Дашка от удовольствия по поводу «тонкости» Лазарева — студента нашей группы. Надо знать, что «тонкий» — это любимое Дашкино словечко при положительных оценках.

— Лапин? Ну как можно сравнивать его с Лазаревым! Ведь Лапин — хам, бородатое чудовище. Он, по-моему, и умывается не каждый день, — Дашка морщится и чуть ли не закатывает глаза.

Мое мнение о Лапине и Лазареве не очень-то совпадает с Дашкиным, но я, как обычно при общении с нею, предпочитаю воздерживаться от искренних высказываний, а ограничиваюсь короткими односложными репликами. Впрочем, это мне не особенно помогает — пронизательная Дашка, как я об этом уже упоминала, «видит насквозь» это мое иное отношение, но, по-видимому, все-таки прощает мне его — за молчание. Чудовищный, однако, симбиоз у нас с нею!

При таком способе беседы разговор наш вскоре иссякает.

— Прочтите, пожалуйста, что-нибудь из ваших стихов, — вдруг просит, осмелев, Аня. Я немного теряюсь перед этой просьбой, которая мне и приятна и неприятна одновременно. Одно дело — подтверждать свою солидарность с великим Роменом Ролланом (а, значит, и с Аней), другое — утверждать себя...

«Вот уж Дашка понаслаждается бесплатным спектаклем. Нет, ни в коем случае нельзя соглашаться читать здесь свои стихи», — думаю я, а вслух говорю: — Хорошо, прочту!

Говорю помимо своей воли. Причину — умоляющие глаза Ани и еще какая-то невыносимая тоска, от которой хочется во что бы то ни стало освободиться.

Я читаю стихи. Читаю первое, второе, третье, четвертое, пятое... Читая, отключаюсь от комнаты, от Дашки, от «вражеской» ситуации. Когда наконец умолкаю, то буквально кожей ощущаю тишину в комнате. Взгляд мой, онемевший от пустоты, вдруг опять фиксирует Аню, но, не успев осознать, в каком же



она состоянии, я слышу Дашкин насмешливо-ласковый голос:

— Она сейчас заплачет!

Чувствуется, что ей жаль сестру и «насмешничает» она только по привычке. Анюта в самом деле выбегает из комнаты, закрыв лицо руками.

Через некоторое время я ухожу из Лопаткинского дома, не попрощавшись с Анютой: она еще «не отошла», как выразилась Дашка. Она провожает меня до дверей. Как ни странно, я не чувствую перед ней никакого смущения, но зато по не свойственным Дарье серьезности и некоторой растерянности понимаю, что смущена она.

— Ты прости Анюту, она такая нервная, — хочет и не может улыбнуться Даша.

«Бедняга, сама не знает, отчего смутилась», — пожалела я про себя Дашку. Но я уже настолько пришла в себя, что могу перехватить инициативу шуточного тона, что и делаю, чтобы успокоить Лопаткину. Я даже целую ее на прощание, предварительно поблагодарив за гостеприимство.

Когда за мною на третьем этаже захлопывается дверь, я вдруг облегченно вздыхаю. Выйдя за пределы двора, на улицу, я задираю голову на окна Лопаткинской квартиры. В правом углу второго окна гостиной, около которого у них стоит книжный шкаф и где я листала Роллана, вижу чье-то лицо. Догадываюсь, что это Анюта. Барабанит по стеклу пальцами. Машу ей в ответ. Затем делаю еще более широкий, прощальный жест и иду, уже не оборачиваясь, прочь от дома, в котором живет Анюта. Больно сжимается сердце, но сознание пронизано удивительной радостью — я знаю, что с этого дня прекратится мое бессмысленное, гнетущее существование.

Вечером в нашей большой коммунальной квартире с шестью хозяевами звонит телефон, и в этом, конечно, нет ничего необычного. Необычно то, что к телефону зовут меня. Меня, которой звонить некому.

— Добрый вечер! Вы, пожалуйста, на меня не сердитесь, но я целый день после вашего ухода плачу. Мне так понравились ваши стихи и вы тоже... Дома я никак не могла сказать вам это, поэтому позвонила, — знакомый грудной голос исчезает, его сменяет отбой гудков.

Стою растерянная: я ничего не успела сказать в ответ. А впрочем, что бы я могла сейчас сказать? Нежность к девочке Анюте, находящейся по ту сторону телефонного провода, то и дело перемежалась тревогой за нее.



Александр ТАМАЗИШВИЛИ

## ЕДУЩИЕ НА ЮГ ——— Рассказ

БЫЛА уже глубокая осень, и погода стояла отвратительная. Лил холодный дождь и рано наступали сумерки, которые из-за обложного тучами неба, казалось, не проходили вовсе. Давно не было ни солнца, ни тепла, а одеваться надо было почти по-зимнему. У Савина начался отпуск, и он готовился к поездке на юг. Накануне Савин прослушал сообщение о погоде в программе «Время». Прогноз обнадеживал. На курортах Черноморского побережья стойко держалось тепло — до 24 градусов, а температура воды в море — двадцать. Можно было и выкупаться и позагорать. Конечно, октябрь есть октябрь, и лучше было бы выбраться к морю где-то в августе, но Савин не сетовал на судьбу, в октябре на юге тоже хорошо, — думал он. Сборы его были недолгими, а багаж нетяжелым. Уже надев плащ, Савин посмотрел на часы: до поезда оставалось почти че-



тыре часа, и он заколебался — ехать ли ему на вокзал так рано или нет. Вообще-то Савин не относился к числу тех, кого он называл «паникерами». В свое время он младнокровно прыгал на подножки уже набравших скорость поездов, за что его долго ругали в тамбурах проводники, но на этот раз он решил все-таки ехать на вокзал. Дома делать было нечего, мыслями Савин был уже на юге.

Вокзалы Савин любил. Они сулили дорогу, перемены в жизни, новые впечатления, и вообще тот, кто часто и помногу ездит, просто не имеет времени стариться и болеть, считал Савин. Он любил приглядываться к вокзальной публике, по опыту зная, что в ней попадаются такие типы, каких больше нигде не встретишь. Но три с лишним часа слоняться по вокзалу без дела было бы утомительно, и, сдав чемодан в камеру хранения, потолкавшись у всех ларьков и съев мороженое, он решил выйти в город. Слева от вокзала на подъеме торговали гвоздиками. Они были откуда-то оттуда, с юга, куда он ехал. Ему предложили купить гвоздик, но цветы не были ему нужны, и засунув руки поглубже в карманы, он медленно побрел по улице, любуясь громадой вокзала с большими электронными часами. Прошел всего час, как он вышел из дому. Не торопясь, Савин дошел до кинотеатра и долго рассматривал афиши. Ближайший сеанс начинался через десять минут. Он купил билет и вошел в полупустой зал. Фильм был скучноват, но зато прошли час сорок, и нетерпеливое желание уехать охватывало Савина все сильнее.

Народу на вокзале прибавилось, и он с трудом нашел себе место на скамьях для ожидающих. Рядом с ним оказался неопрятного вида старик в старом замызганном плаще и потертой, в каких-то пятнах шляпе. От старика пахло дешевым крепленным вином, но глаза, скосившиеся на Савина, были ясны, и в глубине их жил добрый огонек мысли. Старик этот был чем-то привлекателен, и поэтому Савин вступил с ним в разговор даже охотно, едва тот задал первый вопрос, прямо поставший в цель:

— На юг едете?

— Да, — ответил Савин, — в отпуск.

— Хорошо! — сказал старик. — Я вам завидую.

Вы удачно выбрали время. Почему-то считается, что на юге лучше всего летом, но сколько этот вариант имеет недостатков — считайте. — Он начал загибать пальцы. — Очень жарко, это раз, а у меня сердце; жилья нет — два; толкучка, так надоевшая и в Москве, — три, да и вообще, что говорить — бархатный сезон лучше. Вслушайтесь внимательно, не какой-нибудь — бархатный!..

— Да, пожалуй, — согласился Савин, — пожалуй что так. Я во всяком случае не жалею, что еду в октябре.

— Конечно, о чем жалеть, — главное, там еще тепло, выкупаетесь.

— Обязательно.

— Я тоже хочу на юг, — продолжил старик, — очень хочу, всю жизнь. Но не был ни разу. То времени не было, а чаще денег, я ведь пью.

Сказав это, он вопросительно и грустно посмотрел на Савина. Савин был разочарован. Разговор был необычен, и старик не выглядел попрошайкой — и вдруг такое. Он было полез уже в карман, но старик остановил его.

— Нет, нет, что вы, что вы, я не для того сказал, нет, поймите правильно. Деньги у меня есть, небольшие, правда, сто семьдесят рублей, но есть. Как вы думаете, хватит их поехать в Грузию?

— Не знаю, — ответил Савин и вынул руку из кармана. — А почему именно в Грузию?

— Хочется, — сказал старик, — древняя седая земля. Земля солнца, виноградников, вина, добрых и щедрых людей.

— Хм, — усмехнулся Савин.

— Я знаю, что вы думаете, — перебил старик, — меня никто туда не звал, и я окажусь лишним? А я так много слышал о грузинском гостеприимстве. Представьте себе, в любой дом можно прийти на ночлег, и вас пустят, и угостят вином и вообще... скажите, в Москве это возможно, вы представляете себе в Москве подобное?!

Савин не представлял.

— И я вот что думаю. Деньги мне нужны только на



дорогу, ну там на что-нибудь еще, на еду, допустим, гостиницы мне не нужно, пустят ведь ночевать, как думаете?

— Пустят, — сказал Савин. Ему захотелось сделать приятное этому старику, который так верил в то, что говорил, хотя Савин сильно сомневался и в ста семидесяти рублях, и в том, что в Грузии пускают ночевать оборванцев в любой дом.

— Вот видите, мне никто не верит, а я поеду и докажу. Народ, живущий на такой земле, не может быть злым. Солнце и виноград — символы добра и щедрости.

— Так уж добра? — не удержался Савин. — Виноград? А пьянство как же?

— Вы путаете, — старик загорячился, — путаете, пьянство тут ни при чем. Там никто не станет пить этот дрянной портвейн. Я пью его — у меня нет денег. Я берегу их для поездки. Но ведь там так много вина, оно дешево. Да что я вас убеждаю, вы сами все увидите.

Объявили посадку. Савин встал, а старик заторопился.

— Счастливого вам пути, мой поезд тоже скоро.

— А вы разве едете куда-нибудь? — удивился Савин.

— Еду, конечно еду, в Харьков, к сестре, там тоже неплохо, а может и в Грузию махну. Вот видите, я в плаще, для чего мне там пальто, верно?

— Верно, — сказал Савин и соврал, он не верил старику.

Старик неуверенно двинулся по проходу между скамьями и в самом конце его споткнулся о чью-то сумку, доверху наполненную апельсинами. Сумка опрокинулась, апельсины рассыпались.

Савин видел, как старик, неловко суетясь, собирал их и как размахивала руками огромная баба со злым и красным лицом. Она что-то очень быстро и пронзительно визжала. Савин понял только «пьянь проклятая» и «в милицию». Стал собираться народ и закрыл старика от Савина. А у него вдруг упало настроение и захотелось впихнуть все апельсины по одному в раскрытый, кричащий рот бабы. Пробившись сквозь толпу, Савин увидел, что милиция не дремала. Старика уже держал под локоть сержант, другой увещевал бабу.

— Отпустите его, сержант, — неожиданно для себя просительно сказал Савин, — он не нарочно и не пьян, он в Харьков едет, к сестре.

Сержанты вместе осмотрели Савина с головы до ног, и один спросил:

— А вы его знаете, или, может быть, родственник?

— Родственник, — соврал Савин.

— Тогда документы, — сержант протянул руку.

Савин подал ему паспорт с вложенным в него билетом. Милиционер изучал их недолго. Он вернул паспорт Савину и сказал:

— У вас поезд через двадцать минут, а вы тут стоите, врете зря, лучше поезжайте, а то отпуск пропадет.

— Но он едет в Харьков, — настаивал Савин.

— Ну как, Паша, едешь в Харьков? — спросил у старика тот милиционер, что держал его за локоть.

Старик жалко сжался и не смотрел на Савина. Он переминался с ноги на ногу, и Савин понял, что милиционеры хорошо знают старика, что он здесь завсегда-тай и они как будто прочли его мысли.

— Не волнуйтесь за него, — услышал Савин, — мы его хорошо знаем, не первый день, домой отведем, он тут недалеко живет. Ну, что стоим, граждане, проход загораживаем?! Расходитесь, пожалуйста!

Савин побрел к камере хранения. Уже получив чемодан, он услышал за спиной ехидный голос той самой бабы: «Родственник нашелся! Адвокат! Пьянь такая же!».

— Заткнись, дешевка, — взорвался вдруг Савин, — лучше заткнись!

Он резко обернулся. Баба увидела его лицо и осеклась. Она долго не могла вымолвить ни слова, за это время Савин уже успел выскочить на перрон и, конечно же, не слышал, что кричала она ему вслед.





# РАССКАЗЫ

## Цепь

**С**ЕРГЕЙ возвращался домой непривычно рано. Мать, стоя на крыльце, наблюдала, как он широкими шагами пересек улицу, на секунду остановился и вопросительно посмотрел на нее. Она тяжело вздохнула и отвела глаза. Говорить было нечего и незачем — слова сейчас не играли никакой роли, они ничего не решали и, по сути дела, были не нужны.

Умирал Жук — огромный, лохматый Жук, некогда сильный и злой до бешенства. «Дурной пес!» — говорили про него на селе, но Сергей знал, что на самом деле никто так не думает. Говорили по привычке поносить на людях все, чего боялись в глубине души и чему удивлялись. Были и такие, которые просто завидовали Сергею — те, чьи псы, стоило поднять с земли палку, поджав хвост, прятались в будку. На Жука никто не смел замахнуться — бывает ведь, что и цепь рвется...

И вот теперь Жук умирал. Верным, никогда не подводившим звериным чутьем почувствовал он немолимое приближение смерти, понял, что короткий отрезок времени, отмеренный ему неизвестно где и неизвестно кем, истек...

Он лежал возле своей будки с закрытыми глазами, и только едва уловимое движение шерсти над заметно проступившими ребрами говорило о том, что он дышит, что он жив.

Сергей коснулся рукой лохматой головы пса и почувствовал, как тот, судорожно вздрогнув, приоткрыл глаза, но помутневший взгляд был устремлен не на хозяина, а куда-то мимо него, вдаль. Сергей присел рядом на траву, закурил, глубоко затягиваясь. Стало

трудно дышать, какой-то отвратительный ком подкатил к горлу, сдавил его.

Умирал Жук...

«Как же так, без него... — думал Сергей, забыв про сигарету и не замечая, как огонек подобрался к самым пальцам. — Почему в мире существует такая страшная несправедливость? Почему никому не нужная ворона, питающаяся падалью, живет сотни лет, а прекрасные животные, благородные и красивые, умирают так рано?.. Почему?».

Незаметно подкрадывалась ночь. Пес снова открыл глаза и вздохнул — тяжело, как-то совсем по-человечески. Он по-прежнему смотрел вдаль, туда, где за огородами начинались бескрайние поля, где далеко-далеко темнело пятно старого леса. И тут Сергей вспомнил, вернее даже не вспомнил — мысль пришла неожиданно и острой иглой впиалась в сердце: собаки не умирают дома...

Он нащупал рукой ошейник, почти вросший в некогда могучую шею пса, отсоединил цепь. Потом отошел к дому и сел на деревянный чурбан, на котором обычно колот дрова.

Собаки не умирают дома... Жук не мог идти, не мог подняться. И потому он полз — медленно, едва заметно. Полз за огороды, в поле, пытаясь притупившимся нюхом поймать какой-то неведомый, одному ему известный запах. Быть может, это был запах далекого предка, не знавшего цепи и ошейника, не имевшего хозяина, а бывшего хозяином самому себе. Быть может, именно сейчас, чувствуя, как силы, а с ними и жизнь покидают его, пес подчинялся высшему закону жизни — непобедимому, извечному стремлению к свободе, пусть даже на миг, пусть даже перед концом.

В эту ночь Сергей не спал — лежал на веранде с открытыми глазами и вслушивался в тревожную тишину. Мать тоже не спала. Сергей слышал, как она ворочалась, тяжело вздыхала...

Он вспомнил, как иногда Жук срывался с цепи,



пропадал где-то по несколько суток и все же возвращался домой. Что за сила гнала его тогда, здорового и сильного, к цепи и ошейнику? И что за сила заставляла умиравшего уползать от них?

Он не знал ответа, но уже сам вопрос, возникший неожиданно, был для него открытием, откровением. Быть может, явное противоречие и парадоксальность, породившие этот вопрос, — неотъемлемое звено любой жизни, в том числе и его собственной? Быть может, не каждый вопрос, который ставит перед нами жизнь, имеет ответ, и важен не ответ, а его поиск?..

Не дожидаясь, когда рассветет, Сергей снял со стены старый дождевик, накинул на себя и вышел из дома. Небо на востоке слегка розовело, земля дышала полной грудью, дышала влажно и глубоко. Сергей провел рукой по траве, набирая в ладонь росы, умылся и пошел тула, куда вечером уползал Жук.

Проходя мимо пустой будки, он споткнулся обо что-то и едва не упал. На земле холодно поблескивала цепь. Сердце Сергея больно сжалось — в его представлении Жук и цепь всегда были неразделимы, как нечто единое и естественное. Сейчас же, глядя на мертвую цепь, ему стало особенно тяжело. Естественное... Нет, конечно, нет! Просто привычное.

Пес не смог уйти далеко — дополз до места, откуда начинались колхозные поля, засеянные пшеницей. Он лежал на мокрой траве, вытянувшись своим большим телом, с открытой пастью, в которой тускло желтели клыки.

Сергей расстелил дождевик, завернул в него труп собаки и медленно, ничего не замечая вокруг, побрел обратно к дому. Мокрые растения цеплялись за ноги, было скользко, но он шел, прижимая к груди уже остывшее тело Жука — осторожно, бережно, словно ребенка...

Под грушей в саду он выкопал яму, опустил в нее завернутого в старое одеяло Жука, засыпал землей. И только теперь, бросив последнюю горсть земли, вдыхая ее пьянящий густой запах, он почувствовал, как что-то в нем прорвалось, лопнуло... Слезы хлынули из глаз, и он, даже не пытаясь утирать их, уткнулся лицом в шероховатый ствол дерева.

Кто-то тронул его за плечо — рядом стояла мать. И сейчас слова были бессильны, мать понимала это, но все же хоть прикосновением пыталась утишить боль сына.

Они стояли молча над холмиком свежеврытой земли и не пытались скрыть своего горя. Они прощались не просто с собакой, верно отслужившей девятнадцать лет, они прощались с другом, прошедшим вместе с ними через все беды и радости...

Но было и еще что-то. Какое-то новое, неизвестное до сих пор чувство. Непонятное и необъяснимое. Сергей повернулся и снова пошел туда, где подобрал умершего пса.

Утро было ясное. Вокруг, насколько хватало глаз, разбегались золотые, волновавшиеся под легким ветерком пшеничные поля. Высоко в небе завис жаворонок.

Сергей стоял, вглядываясь в далекий лес, а новое, непонятное чувство бродило в нем, одинокое и неприкаянное, такое же, как и он, посреди этого простора.

«Собаки не умирают дома...»

И вдруг он понял, что это — чувство вины. Какой вины, перед кем, почему — этого он еще не знал.

Мысли, мучившие его всю ночь, вновь овладели им, и, погруженный в них, долго еще стоял он посреди открытого поля. Солнце поднялось уже высоко, и Сергей чувствовал его лучи на своем лице — с каждой секундой они набирали силу, и вот уже стало припекать.

Сергей глубоко вздохнул и огляделся: все вокруг сияло, залитое солнечным светом. Знакомые поля, деревья, лес вдалеке — все это он видел словно впервые, вернее как-то по-новому, совсем не так, как вчера. Он знал, что тяжесть утраты еще долго будет жить в сердце, и с удивлением подумал, что это почти не огорчает его. Что-то кончилось в его жизни, это было ясно, но что-то, гораздо более важное, только начиналось...



## Портрет

АНДРЕЙ отошел от мольберта и совершенно уверенно

ленный, опустился на стул. Стул жалобно скрипнул.

Он посмотрел на неоконченную картину и почувствовал, что не в силах даже разозлиться. Ничего не получалось. Вот уже две недели все валялось из рук. Случалось и раньше, что работа не клеилась — уставал или были другие причины, но сейчас... Сейчас он не видел никаких причин. Просто ничего не получалось и, казалось, так никогда и не получится.

Он подумал о том, что его работа похожа на погоню за неуловимым. Ведь, по сути дела, ни одна картина так и не доведена до конца. Всегда что-то остается. И даже если со стороны кажется, что картина закончена и все на своих местах — он-то знает, что конца быть не может. Художник бывает доволен сюжетом, композицией, сочетанием красок, но разве может он быть полностью доволен собой?

Андрей снял картину с мольберта и поставил на пол, прислонив к стене, вдоль которой уже стояло несколько неоконченных полотен.

«А может, нужно забыть на какое-то время про холсты и краски и уехать подальше от города, — подумал он, — побродить по лесу, половить рыбу?.. Может, в самом деле, нужно именно это? Тогда позвоню Сергею и обо всем договорюсь. Поедем вместе или поживу на его даче один».

Андрей снял трубку и некоторое время сидел задумавшись, глядя на расставленные вдоль стены картины. Потом набрал номер и стал ждать, «Нет дома», — подумал он и хотел уже положить трубку, как вдруг услышал женский голос.

— Да? — женщина сказала только одно слово, однако Андрей почувствовал, что у него почему-то вспотели ладони. Станный какой-то был этот голос — слегка усталый, как будто сонный. Он впервые слышал его, а казалось, знает много лет.

— Да, — повторила женщина, — слушаю вас.

— Будьте добры, попросите Сергея к телефону, — сказал Андрей и почему-то подумал, что женщина улыбнулась.

— Здесь такого нет... Вы, очевидно, ошиблись номером.

— Да, очевидно... Наверно ошибся.

«Если она положит сейчас трубку, — подумал Андрей, — я никогда не прощу себе этого!». Он лихорадочно искал нужные слова, но не находил их.

— Это не 37-17-84? — спросил он, заранее зная ответ.

— Нет, вы ошиблись.

— Ошибся, — согласился он, — но прошу вас, не кладите трубку... Я сейчас вам все объясню...

— Пожалуйста, я слушаю.

Странное чувство охватило Андрея — такое, словно стоял он у самого края проруби и вот-вот должен был окунуться в ледяную воду. Самое интересное, что боялся он не воды, а того, что не сможет в нее окунуться. На какой-то миг ему показалось, что это сон и сейчас он проснется.

— Не знаю, поймете ли вы меня, — начал он, — дело в том, что я художник, но... но последнее время со мной творится что-то... Я не могу писать. И не знаю, в чем дело. Сейчас я звонил моему другу, чтобы договориться — может, поехали бы на дачу или еще куда-нибудь, и вот попал случайно к вам...

«Господи, что это я несу!» — с ужасом подумал он и чуть не выронил трубку — женщина засмеялась.

— Выходит, не дозвонившись до своего друга, вы решили пригласить на дачу меня?

— Нет, что вы! У меня и в мыслях не было. Простите ваш голос...

— Мой голос?

— Ну да. Разве вам никогда не говорили, что у вас какой-то удивительный, особенный голос?

— Не помню... Наверно, не говорили. А почему это он особенный?

— Как вам сказать... Я и сам не пойму... Но вот мы с вами всего несколько минут поговорили, а мне легко как-то стало, и я понял, что смогу написать еще что-то стоящее, вообще что-то смогу... Не знаю почему, но именно это я и почувствовал.



Некоторое время оба молчали, потом она спросила:

— Что же вы теперь станете делать?

— Не знаю, — признался Андрей, — наверно опять примусь за работу.

Он помолчал и неожиданно проговорил:

— Я должен написать ваш портрет.

— Мой портрет? Но ведь вы же никогда меня не видели!

— Это неважно, — ответил он, — тут все дело в голосе, понимаете? Я слушаю вас, слышу ваш голос, и мне кажется, что вижу вас. Мне даже кажется, что мы давно знакомы...

— Еще бы, — она засмеялась, — целых пятнадцать минут! — И, помолчав, сказала: — Я понимаю вас...

Женщину звали Ириной. Она наотрез отказалась сообщить номер своего телефона, но обещала звонить Андрею каждый день, пока он будет писать портрет.

Он сразу же принялся за работу и с радостью, с невероятным облегчением почувствовал, как уходит томительное, изнуряющее чувство неопределенности, мучившее его в последнее время. Работалось легко. Стоило закрыть глаза и он видел Ирину, видел ее улыбку, глаза, губы, волосы... А больше всего помогал ее голос, он давал ответы на все вопросы.

Быть может, оттого, что они никогда не знали и не видели друг друга, они были откровенны. Каждому хотелось поделиться своим наболевшим, затаенным; каждый стремился использовать эту неожиданно возникшую отдушину, через которую можно было хлебнуть свежего воздуха...

Как-то раз она спросила:

— Скажите, Андрей, какого цвета у меня глаза?

— Карие, — не задумываясь, ответил он.

— А если я скажу вам, что они у меня голубые?

— Я вам не поверю.

Работа над портретом близилась к концу и это очень волновало Андрея. Во всей этой истории было что-то невероятное и слишком нужное и редкое, чтобы продолжаться долго. Оба понимали это, и когда он

сказал Ирине, что заканчивает портрет, она с грустью заметила, что вот и наступил конец их телефонному знакомству, а точнее — знакомству вообще.

— Почему? — возразил он. — Я уверен, что оно нам обоим необходимо. Мне будет очень не хватать...

— Чего?

— Нет, кого. Вас...

— Но ведь вы и не знаете меня. Не знаете, что я за человек... Вы судите обо мне по нашим разговорам...

— Нет, мне кажется, что я вас знаю давным-давно и к тому же я вижу вас — вот вы передо мной, ваш портрет уже готов.

— Это не мой портрет, Андрей, — вздохнула Ирина. — Я не видела его, но знаю, что это не я. Наверно, это та женщина, которую вы хотели бы встретить, о которой мечтаете.

— Но мы не можем допустить, чтобы все так кончилось, Ирина!

— Вы ведь знаете, что иначе нельзя, — сказала она. — Если все оставить по-прежнему, то рано или поздно случится так, что мы встретимся.

— А может, это и будет правильное всего?

— Нет... Вы сказали, что я вам нужна, но вам нужна не я, а та женщина, которая на вашей картине. Наверно, у каждого так — ищешь и ждешь какого-то своего человека, и он существует для тебя, но только в воображении. Потом встречаешь кого-то и думаешь, что это и есть именно он, твой человек, только потому, что у них что-то общее или похожее: глаза, или смех, или голос... А еще потом оказывается, что ничего общего у них и нет.

— Вы много думали об этом? — спросил Андрей.

— Да, — ответила женщина, — со мной уже когда-то было такое.

— Наверно, вы правы. Но ведь могут все же два необходимых друг другу человека когда-нибудь встретиться? Может быть, это и есть тот случай!

— Нет... я знаю, что... это не тот случай. Я ничем не могу уже помочь вам, так же как и вы не можете помочь мне. Единственное, что я могу сказать, это — ищите ту, которая на вашей картине. Быть может, вам повезет...





Владимир ОСИНСКИЙ

## ПРАВО НА ВЛАСТЬ

— Очень это не простое слово — «начальник»... Оно ведь от «начало», и получается так, что начальник — начало всему. Хорошее, стало быть, слово..., если сам начальник хороший.

(Из разговора).

**У**ПОМИНАНИЕ о Болниси издавна ассоциируется с представлением о месте, географически близком к Тбилиси, исторически — древнем, этнографически — многоязычном. Любой школьник знает, что это родина великого Сулхана-Саба Орбелиани, а также Якова Цуртавели, автора бессмертного «Мученичества Шушаник». Каждому, кто интересуется прошлым родного края, памятли слова исследователя грузинского средневековья академика Николая Александровича Бердзенишвили о том, что здесь истоки культуры карталинцев...

Неподалеку от районного центра возвышается один из древнейших памятников зодчества — Болнисский Сиони. Он впечатляет величием человеческого гения, соединенного с чистотой помыслов и бескорыстным стремлением остаться в памяти потомков. Храм построен в 478—493 годах — и как построен! Между монолитами, из которых сложены его стены, не просунуть лезвие бритвы... В Болнисском Сиони вы найдете первую в Грузии датированную надпись. К VI и XII векам относятся Акванеби и Цугрухашени, в XVII столетии возведены Квешская и Колагирская крепости... Сведения эти — не дань ностальгическому любованию стариной. Просто: землю, чья красота восходит к столь далекому прошлому, нельзя не любить. И болнисцы дорожат седой стариной своего края, гордясь одновременно тем, что здесь протекала деятельность Степана Шаумяна и Наримана Нариманова; что

отсюда ушли на битву с фашизмом более пяти тысяч человек — и 1.200 из них не вернулись; что двое, Василий Педриашвили и Апавен Ростомян, совершили подвиг, обозначенный в летописи Великой Отечественной священной шифром «подвиг Матросова»; что только в первые послевоенные годы 20 труженников района были удостоены звания Героя Социалистического Труда; что сегодня они дают республике виноград и овощи, продукты животноводства и картофель — особенно ранний, которым лакомимся не одни мы, но и жители Минска, Ленинграда, других северных городов страны (за успешное выполнение планов производства и заготовки этого ценного продукта Болнисский район награжден по итогам минувшего хозяйственного года переходящим Красным знаменем ЦК КП Грузии, Совета Министров Грузинской ССР, Совпрофа и ЦК ЛКСМ Грузии)... Все эти, а также, естественно, различные другие факты и данные, приходили на ум, когда упоминалось о Болниси.

Десять лет тому назад к ним прибавилась аббревиатура МГОК — Маднеульский горно-обогатительный комбинат. Без тени преувеличения можно утверждать, что в историю района, всей республики была вписана новая, причем чрезвычайно важная, страница. Более того, создание нового горно-обогатительного комбината — крупное событие в масштабе страны: уж очень многим отраслям народного хозяйства его продукция нужна как воздух и хлеб.

В 1974 году вступила в строй первая очередь обогатительной фабрики. Однако история комбината восходит к более отдаленным временам.

В начале пятидесятых годов в результате усилий грузинских геологов-разведчиков П. Давиташвили, В. Алейниковой, Ю. Назарова, их коллег неподалеку от села Казрети, примерно в девяноста километрах от Тбилиси, было открыто медно-барито-полиметаллическое месторождение. 1954 год — создание Болнисского рудоуправления, 1966-й — горно-обогатительного комбината. Еще через год они объединились. Возникло предприятие, осуществляющее как добычу руды, так и капитальное строительство, — строящийся Маднеульский ГОК. Итак, первую свою продукцию обогатительная фабрика выдала десять лет назад. В октябре 1975 года начала функционировать вторая очередь ОФ, в декабре 77-го — первый этап третьей очереди... Однако еще в марте того же года добыча медных руд была прекращена, и это стало, по существу, первым чрезвычайно серьезным волеизъявлением только что при-



ступившего к работе нового директора комбината Абесаломы Викторовича Чантурия.

Не будем, как говорится, ворошить прошлое. В нашу задачу не входит выяснение причин, в силу которых директору пришлось принять такое решение. Отметим лишь следующий далеко не отрадный факт: после двух лет добычи руды, вследствие систематического отставания вскрышных работ, на карьере создалась аварийная ситуация, и продолжать его эксплуатацию означало бы играть с огнем. Дело в том, что добыча руды значительно опережала вывоз так называемой «вскрыши» (на 1 января 1977 года отставание составило 16 миллионов кубометров). Сдвигание и стравливание рабочих уступов привело к недопустимому сужению площадок. Отсюда — грубейшее нарушение правил эксплуатации карьера, по-шахтерски точно и хлестко именуемое «рыть свиньей».

Приостановить добычу руды, а следовательно, и выпуск продукции, в которой остро нуждается народное хозяйство страны, — дело нешуточное. Само собой, было получено предписание Госгортехнадзора СССР о необходимости временной консервации вскрышных работ северо-восточного борта карьера. Ясно, не обошлось без соответствующего приказа министра цветной металлургии... Но не следует забывать, что инициатива исходила от него, Абесаломы Чантурия, человека, назначенного руководителем крупнейшего промышленного предприятия с одной, в конечном счете, целью: обеспечивать бесперебойный и своевременный выпуск качественной продукции в требуемом объеме. Он же с самого начала заявил: не буду, потому что не могу. Со стороны легко рассуждать на тему о том, что его вынудили поступить так причины объективные, что не ему отвечать за ошибки предшественников, что иначе было просто невозможно... План остается планом, государственное задание — не чья-то прихоть, а необходимость, обусловленная множеством факторов, и, какими бы обстоятельствами вы ни объясняли, почему не сделали того, что от вас ждут, — ведь не сделали же, и это главное... Словом, понять до конца, чего стоил директору шаг, на который он пошел, сможет лишь человек, сам побывавший на его месте. К счастью, поняли.

В соответствии с упомянутым приказом министра цветной металлургии СССР (от 24 марта 1977 года) был разработан укрупненный план форсирования вскрышных работ, которым расконсервация аварийных бортов карьера и возобнов-

ление добычи руды предусматривались только с учетом правил техники безопасности.

Меньше чем за три года в Маднеули выполнили миллионы кубометров вскрышных работ (хочется надеяться, подобная цифра и в глазах непосвященного выглядит достаточно впечатляющей). С января 1980 года добыча медных руд возобновилась в плановом объеме. В декабре вступил в строй второй этап третьей очереди обогатительной фабрики — лучшее свидетельство гармоничности развития производства.

Понадобилось всего три года, чтобы усилия рабочего коллектива заслужили высокую оценку Центрального Комитета Компартии Грузии, принявшего постановление «О работе партийной организации Маднеульского горно-обогатительного комбината по повышению общественно-политической активности трудящихся и концентрации их усилий на достижение лучших конечных результатов в производственно-экономическом и социально-культурном развитии коллектива».

Думается, вот это «...лучших конечных результатов» весьма красноречиво и емко характеризует сущность качественных изменений, пришедших в жизнь МГОК. Не менее выразительно содержание трех ключевых задач, которые поставил перед маднеульцами Центральный Комитет: превратить комбинат в образцово-показательное предприятие высокой эффективности и культуры производства; своевременно освоить проектную мощность; способствовать созданию оптимальной социально-экономической структуры Болнисского района в целом. Иначе говоря, в партийном документе отразились и качественно новые требования, предъявляемые к промышленному предприятию в условиях зрелого социализма (не только эффективность, но и культура производства), и забота о завтрашнем дне коллектива, и одна из важнейших примет времени, связанная с рождением и успешным развитием агропромышленного комплекса как прогрессивной формы хозяйствования, объединяющей экономические категории с социальными. Отныне на трудовой коллектив Маднеульского горно-обогатительного комбината возлагалась ответственность не за одно лишь собственное будущее — за будущее всего региона.

Чтобы узнать, чего стоит строитель, не надо заглядывать в его диплом — лучше пожить в возведенном им доме. Самое верное представление о профессионализме врача получают люди, которых он вылечил. О таланте писателя лучше судить



не по отзывам критиков, а по его произведениям... Каков руководитель? Единственно верный критерий оценки его человеческих и деловых качеств — уровень жизни и труда персонала, которым он управляет.

Сравнительно недавно — а если учесть, что для крупного промышленного предприятия три года срок весьма небольшой, то совсем недавно — Маднеульский ГОК был объектом суровой и справедливой критики. Сегодня его ставят в пример.

Подлинно научная организация труда, умение руководителя видеть перспективу, принимать решения смелые, но обоснованные, требовательность по отношению к подчиненным соединять с мудрой снисходительностью к естественным человеческим слабостям, бескомпромиссность — со способностью понять и простить, а необходимую в большом деле масштабность мышления сочетать с вниманием к будничным, житейским мелочам поистине способны горами ворочать (причем здесь — и в буквальном смысле тоже)... Должно быть, это и есть компетентность — та великая ценность, о которой мы часто говорим и которой нам так часто не хватает.

Коротко о продукции комбината. Здесь перерабатываются медно-пиритные и баритовые руды с получением соответствующих концентратов. Реконструкция третьей секции фабрики — ее проект уже готов, окончание первой очереди намечено на будущий год — позволит организовать переработку еще одного вида (богаты недра нашей земли!) кварцитов. Предстоит также внедрить безотходную технологию обогащения медно-пиритных руд, что позволит получать так называемые отвальные хвосты с низким содержанием серы, а следовательно, пригодные для дальнейшего использования в народном хозяйстве. Между прочим, «хвостами» именуются отходы обогащения, так что получается: и отходы будут приносить доходы.

Теперь цифры: с начала одиннадцатой пятилетки маднеульцы произвели — большой объем сверхплановой продукции; задания первых трех лет по валу и реализации выполнены досрочно; темпы роста производства составили 106 процентов; потери рабочего времени в минувшем году снизились по сравнению с предыдущим на 30 процентов; текучесть кадров за последние пять лет сократилась вдвое; только за прошлый год производительность труда повысилась на семь с половиной процентов, и каждый работающий производит теперь в среднем на 10830 рублей продукции в год. Иначе говоря, на Маднеульском горно-обогатительном комбинате успешно решается

главная задача, выдвинутая в решениях XXVI съезда КПСС, осуществляется последовательная интенсификация экономики, заключающаяся, как известно, в том, чтобы при условии во- влечения в производство меньших ресурсов получать более высокие результаты.

Конечно, было бы в корне неверным упрощением, даже искажением действительного положения вещей предполагать, что все эти достижения — заслуга одного директора. Да и в постановлении ЦК Компартии Грузии вполне определенно говорится о повышении авангардной роли коммунистов, идеологического актива предприятия, ответственности руководителей каждого хозяйственного звена за производственно-экономическую деятельность и определенные направления идейно-воспитательной работы, роли масс в управлении производством — подчеркивается, что достигнутое явилось результатом усилий всего коллектива. И все же: ведь начальник — всему начало...

«Партия добивается, — сказал Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ К. У. Черненко на встрече с избирателями в марте нынешнего года, — чтобы ленинский стиль во всем его многообразии и богатстве стал потребностью души, незаменимым рабочим инструментом каждого партийного, советского, хозяйственного руководителя. Полномочия и права руководителей у нас обширны, но велика и ответственность.

...Кадры партии и государства завоевывают симпатии и уважение масс прежде всего на живом общественном деле, завоевывают своей энергией и знаниями, личным примером и поведением, свободным от всего, что оскорбляет нравственное чувство человека. Руководитель потому и может быть требователен к другим, что больше всего требователен к себе. Это дает ему, помимо служебного, моральное право проявлять твердость в тех случаях, когда правильнее, как говорится, «речей не тратить по-пустому, где нужно власть употребить». Основа авторитета руководителя — народное одобрение и поддержка».

В двух словах — о характере отношения к Абесалому Викторовичу подчиненных.

В 1956 году, после окончания Московского института цветных металлов и золота, он начал работать сменным мастером крупного предприятия в Киргизии, через семь лет возглавил его, а в 1969-м был переведен директором родственного предприятия в Донецкую область; уже оттуда Чантурия вернулся на родину. И каждый раз люди расставались со своим руководи-



телем с глубоким сожалением, а многие и всплакнули (к этой — высшей — награде в обоих случаях прибавились ордена Трудового Красного Знамени; орден Ленина Абесаломович получил уже в Грузии; кроме того, он кавалер ордена Октябрьской революции).

Что же касается требовательности к себе и самоотдачи на служебном посту, то здесь рискну привести слова супруги Чантурия — Галины Ивановны (надеюсь, она простит мне такую вольность), которая тоже работает на комбинате:

— Наверно, даже хорошо иногда, если жена вместе с мужем работает — лучше понимаешь, каково ему приходится, прощаешь раздражительность, иной раз резкость... Я ведь знаю, как он устаёт. Судьбы многих людей — не шутка...

Любое должностное лицо в той или иной степени является носителем власти. Возьмем почти идеальный случай: приходите вы в гостиницу, свободные места в наличии, дежурный администратор с доброжелательной улыбкой выдает вам ключ... Все равно, от доброй воли администратора зависит, останется в его власти, какой будет номер — с видом на лазурное море или на захламленный двор. Что же можно сказать о человеке, который управляет трудом и жизнью многих сотен людей? В самом деле, не шутка. От него зависит — ни много ни мало — в каких условиях им работать, в известной мере — что получать за свой труд, где жить, когда и как отдыхать, чего ждать от будущего. Во всяком случае, до тех пор, пока эти люди находятся у него в подчинении. Впрочем, не только в таких пределах: ведь директор решает, будет ли человек принят на работу, если да, то в каком качестве, и если уйдет, то с какой характеристикой.

Начнем с «хлеба насущного».

Помните цифру: за пять лет на комбинате вдвое снизилась текучесть рабочей силы? Вывод может быть один — люди хотят здесь работать. Почему?

Маднеули (название происходит от «мадани» — «руда») расположен в полутора десятках километров от Болнисси. Пусть не обижаются жители райцентра, более пятнадцати лет назад получившего статус города, но многоэтажным, современными очертаниями домов рабочий поселок впечатляет больше. Не удивительно: он значительно моложе. И каждый работник комбината обеспечивается жильем. Разумеется, в зависимости от семейных обстоятельств, степени своей нужности предприятию и ряда других факторов — одни раньше, другие позже. Однако пусть этот «ряд других факторов»

не вызывает сомнений насчет объективности руководства при распределении жилплощади: она обеспечивается принципом коллективности решения этого жизненно важного вопроса. Начинается там, где непосредственно трудится человек, — с бригады, цеха, при обязательном участии профсоюза, — и решается на основе всестороннего рассмотрения всех «за» и «против», с неизменным соблюдением очередности. Но к этой теме мы еще вернемся — более предметно.

Так же коллективно, в обстановке широкой гласности, как одного из важнейших условий соблюдения демократических начал в управлении производством, осуществляется распределение всех без исключения материальных благ — от путевки в дом отдыха до автомашины. На предприятии действует тщательно продуманная система материального и морального поощрения передовиков, новаторов, рационализаторов. Иначе нельзя. Суммы, выделяемые на эти цели, внушают почтение: только в прошлом году и только на премии по итогам социалистического соревнования были израсходованы 82 тысячи рублей. Вот краткая выдержка из правил поощрения за добросовестный труд, которые соблюдаются неукоснительно: «Итоги соревнования подводятся на совместных заседаниях администрации и цехового комитета профсоюза по представлению профбюро бригад, смен, экипажей и т. д. Последний этап — совместное заседание администрации и профкома комбината, после чего издается приказ, с которым работники знакомятся на общих собраниях цехов».

Надо ли говорить, что идиома «хлеб насущный» подразумевает более широкий круг материальных благ, нежели премия, благоустроенная квартира в новом доме, единовременное денежное пособие, место в общежитии для холостяков, автомашина, бесплатный проезд в служебном автобусе и другие хорошие вещи. В том-то и суть преимуществ нашего образа жизни, что общество платит человеку за честный труд не только благами, предоставляемыми конкретному работнику. Их суммарный объем значительно возрастает, когда непосредственная забота о быте человека сливается с последовательной работой по повышению эффективности и культуры его труда. Собственно, такая идея заложена в самом наименовании программы предприятия на будущее: «План социально-экономического развития Маднеульского горно-обогатительного комбината». Он слишком обширен, этот подробно, на строго науч-



ной основе разработанный план, ибо рассчитан вплоть до 1990 года, и потому вкратце расскажем о том, что сделано только за минувший год.

Введены в эксплуатацию: административно-бытовой корпус горного транспорта, мойка карусельного типа для многотонных автосамосвалов, 108-квартирный жилой дом, бытовой корпус профтехучилища, площадка для выгрузки взрывчатых веществ, внешняя канализация карьера. Полностью обеспечено выполнение комплексной механизации ручного труда. Начат монтаж установки плазменного напыления и плазменной резки; она будет действовать уже в текущем году. Смонтирована дробильная установка, благодаря которой карьерные дороги будут постоянно поддерживаться в нормальном состоянии. Завершено строительство помещений для подсобного хозяйства — коровник на 100 голов и свиарник на 550. Машинный парк комбината пополнился десятью могучими самосвалами «БелАЗ-540» и восемью — «БелАЗ-548», двумя бульдозерами, экскаватором... Даже подобный — сухой и беглый — перечень дает право на вывод: в программе экономического и социального развития комбината отчетливо проступают три стратегических направления. Это, во-первых, интенсификация производства, во-вторых, улучшение условий труда и, наконец, повышение материально-культурного уровня жизни членов коллектива, забота о людях, о рабочей смене.

Великолепное триединство!

Если же мы вновь обратимся к вещам прозаическим, как, например, заработок, то здесь интересна история комсомольско-молодежного отряда имени 60-летия ЛКСМ Грузии. Она восходит к 1980 году, когда на комбинат съезжалась по комсомольским путевкам молодежь едва ли не из всех уголков республики, и не только республики. Сейчас их сто двадцать. Все желающие зачисляются на подготовительное отделение ГПИ (и поэтому в Маднеули этот отряд чаще называют студенческим). Учатся, естественно, без отрыва от производства. Зарабатывают (студенты, в основном, водят большегрузные самосвалы) 600—700 рублей в месяц. Ясно, потрудиться для этого надо немало, однако кому не нужны деньги?.. Здесь, между прочим, представляется уместным привести слова Эдуарда Амвросьевича Шеварднадзе, сказанные на XXVI съезде Компартии Грузии: «Разве К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин когда-либо говорили о том, что материальный интерес, заинтересованность трудящегося в том, чтобы и обществу дать больше, и самому заработать больше честным трудом, в рам-

ках социалистического механизма производства и распределения, противоречит принципам социализма?! У основоположников нашего учения мы встречаем как раз обратное, из которого «только тот не недопонимает, тот не знает азбуки марксизма-ленинизма».

В полном соответствии с этой азбукой и живет большой коллектив Маднеульского горно-обогатительного комбината. Графически принцип функционирования предприятия можно было бы изобразить в виде двух спиралей, пересекающихся на каждом витке: одна — интересы производства, другая — личные устремления людей. Таков результат повседневной верности ленинскому требованию о единстве идеологической, организаторской и хозяйственной работы. Нет, вероятно, надобности расшифровывать эту проверенную временем формулу. Наверняка важнее сказать об одном из наиболее ценных достижений коллектива маднеульцев, ставшем возможным в первую очередь именно благодаря слиянию интересов предприятия и человека, который на нем трудится: резком повышении гражданского самосознания, общественной активности масс. Сами по себе эти слова звучат достаточно обыденно. Да что там — они попросту до «кости» стерты от частого и нередко, увы, бездумного употребления. Между тем их смысл поистине высок, когда они наполнены конкретным содержанием.

За два года утроилось количество разного рода предложений, поступивших от работников комбината и направленных, если говорить обобщенно, на улучшение его жизнедеятельности. Только за счет внедрения новой техники и рационализаторских предложений в прошлом году сэкономлено 1348 тысяч рублей — цифра солидная, как, впрочем, и все имеющие отношение к Маднеули. Даже простое перечисление технических идей, принесших столь внушительный экономический эффект, отняло бы слишком много места.

Назовем лишь некоторые имена: главный маркшейдер Владимир Кислицын и главный инженер РОГР (рудника открытых горных разработок) Сергей Кутателадзе, главный инженер Сергей Баранцев, начальник хвостового хозяйства Орест Козьмиди и главный энергетик обогатительной фабрики Марад Погосян, Максим Торба, Георгий Бирюков, Александр Лубяной, Григорий Применко и другие.. Каждый из них помог предприятию сэкономить не один десяток тысяч рублей.

Заметили? Маднеули — многонационален. Действительно,



здесь живут и трудятся грузины, азербайджанцы, русские, армяне, греки — представители тридцати двух национальностей. Со всей ответственностью могу заверить: дружно живут, так называемого национального вопроса здесь просто-напросто не существует, и хотя соответствующая политико-воспитательная работа, конечно же, ведется, подлинный интернационализм, полновластно царящий в коллективе, — производное не столько этой работы, сколько главного закона: чего стоит личность, определяется по шкале ее общественной ценности, а там будь ты хоть марсианин, до этого никому нет дела.

Теперь вернемся к директору комбината.

Он сидел за столом, где не было ничего, кроме пепельницы и телефона — предметов, как выяснилось, в равной, к сожалению, мере необходимых. Присутствовали также (это правило) секретари партийного и профсоюзного комитетов, начальник отдела кадров, председатель жилищно-бытовой комиссии, другие люди, без которых не обойтись. Прием по личным вопросам начался... Забегая вперед, отметим: он продолжался меньше двух часов, и за это время директор принял около пятнадцати человек. По восемь минут на каждого в среднем. Мало? Давайте разберемся.

Входит молодой здоровяк-экскаваторщик, кладет на стол заявление. Абесалом Викторович стремительно пробегает бумажку глазами, успев бросить два-три цепких взгляда на посетителя.

— Ты сколько зарабатываешь?

— Сто сорок... Ну, сто пятьдесят.

— Постой-постой! А премия?

— Да, конечно...

— Значит, и двести, и больше?

— Да.

— Знаешь, сколько получает замминистра? ...Ты — высокооплачиваемый рабочий. А мы оказываем помощь тем, у кого заработки низкие.

Возвращает заявление.

— Но у меня ребенок болен.

— Давай сюда заявление... А что с ним?

— Вывих бедра. Роды были трудные... У меня еще просьба.

— Ну?

— Пересадите меня на «БелАЗ».

— Нет. Пока нет. Когда будут лишние экскаваторщики — пожалуйста.

Видимо, рабочий хорошо знает своего директора.

— Я пошел?

— Иди. Хотя постой. Ты почему машину гробишь — гоняешь по бетонке? Это ведь бывший танк — «тридцать-четверка»! Знаешь, сколько стоит одна ходовая часть?

— Но ведь так быстрее...

— «Быстрее»! Вы у меня все фонды на запчасти съедаете! Запомни: лучше экскаватору тысячу километров по грунту пройти, чем километр по бетонке... Теперь все.

Сколько времени ушло на диалог? Во всяком случае меньше восьми минут. Однако директор успел: а) усомниться в человеке (зачем приbedнялся?): б) преподать ему урок политэкономии; в) разобраться в обстоятельствах и резко изменить почти принятое решение в пользу заявителя; г) провести с ним воспитательную работу, убедительно аргументировав необходимость бережного отношения к народному добру — дорогостоящей технике.

Это последнее — умение обосновать свою позицию, особенно если в просьбе приходится отказать, — самое, пожалуй, примечательное в стиле его работы с людьми.

Женщина с грудным младенцем (возможно, в данном случае и впрямь не с кем было оставить ребенка?) просит отремонтировать квартиру. На нее приходится израсходовать, наверно, втрое больше драгоценного времени — и только потому, что Чантурия считает своим долгом подробно растолковать ей существующие правила:

— Крышу вам комбинат починит, а линолеум настилать, обои переклеивать мы не обязаны и даже не имеем права, пока не подойдет срок капитального ремонта.

— Но ведь другим сделали...

Она называет фамилию, адрес. Абесалом Викторович дает указание: проверить и наказать виновных. Он не на шутку рассержен:

— Чтобы больше такого не повторялось! Пожалели? А ее жалеть не надо? Вот так добро обращается в зло!

Затем приходит уборщица, успевшая проработать на предприятии очень недолго — заболела, а теперь еще операция предстоит... Ей пособие выдается без всяких разговоров.

— Большое вам спасибо!

---

Владимир Осинский. Право на власть.



— Не мне надо спасибо говорить.

Она искренне удивлена:

— А кому же?

— Государству, Советской власти...



Говорит экономно, громко и внятно, так, чтобы не могло возникнуть сомнения в смысле сказанного, чтобы все стало ясно с полуслова. Вместе с тем — не «вещает», не «изрекает» своих суждений, и самый по натуре робкий, застенчивый человек легко находит в себе решимость спорить, отстаивать свою позицию.

Каждая встреча, каждая беседа — это подлинное таинство общения с человеком, когда руководитель в одно и то же время разбирается в конкретном деле — поводе визита, попутно, причем без тени дидактизма, навязчивости, оказывает на личность воспитательное воздействие и почти всегда так или иначе участвует в формировании ее дальнейшей судьбы.

Довольно трудный разговор с человеком средних лет, техником по образованию, пришедшим поступать на работу. Станный пробел в трудовой книжке, который посетитель тщетно пытается объяснить. Наконец Абесалом Викторович задает прямой вопрос:

— Вы что — сидели?

Он берет этого человека на работу по специальности и на прощание коротко советует:

— Знаете, от чего все ваши беды? Гонялись за длинным рублем. А его не существует. Если за одну и ту же работу в разных условиях платят по-разному — значит, эти условия все равно что дополнительный труд. Вы уже не молоды, довольно разъезжать. Закрепляйтесь на земле.

А вот другому в приеме отказывает, хотя внешне никаких особых причин, казалось бы, нет. Единственная заключается в том, что этот человек неискренен в попытках объяснить — удачно, на его взгляд, — такой же, даже значительно более короткий, перерыв в трудовом стаже:

— В деревне у родственников жил. Там на участке и работал...

— Неправда.

И тот растерянно молчит, подтверждая тем самым директорскую правоту, и по-прежнему не хочет быть честным.

— Подумай и приходи в следующий раз.

На этом разговор заканчивается.

Самый «больной» вопрос — квартирный.

Еще одна молодая женщина, хрупкая, тихая, сидит у приставного стола. Ее мужу, водителю, отказали в жилплощади. А другому, поступившему на комбинат всего двумя месяцами раньше, дали. Один из представителей заводской администрации объясняет директору:

— План не выполняет, с дисциплиной плохо.... Поэтому руководство цеха и отказало.

Абесалом Викторович (не в первый уже раз) берет телефонную трубку, задает вопросы, молча выслушивает ответы. Потом — в сторону того, кто давал пояснения:

— А ведь вы в этом вопросе по-настоящему не разобрались! Почему? Здесь дело в другом, оказывается...

Коротко растолковав посетительнице, что очередность на получение жилплощади «штука такая: не то что через два месяца, а в один и тот же день можно на учет стать, но не первым, а третьим или четвертым в списке — и уже не хватило квартир в новом доме», он ошеломляет ее твердым:

— Гарантируем квартиру в следующем доме, он сдается через...

И называет срок, о котором женщина, судя по реакции, даже не мечтала. Суховато:

— Слезы ни к чему. Вы лучше с мужем еще поговорите... Он человек молодой — когда же ему работать вволю, с полной нагрузкой, если не теперь?

Выждав, пока она закроет за собой дверь, жестко внушает своим:

— Почему неточно информируете? В таких делах поверхностность недопустима! Это — жизнь.

В каждой фразе, жесте, реплике, оценке — естественная категоричность, которая дается лишь многократно испытанной уверенностью в своей правоте. К Чантурия никоим образом не подошли бы определения вроде «взвешивает каждое слово» или «семь раз отмерит...». Его умозаключения стремительны, решения он принимает, кажется, вообще не раздумывая, его реакция на собеседника мгновенна и точна. Можно даже так выразиться: стиль работы директора — артистичен. Да, это слово, пожалуй, самое верное, если понимать под артистичностью выверенность каждого шага, основанную на громадном разностороннем опыте, глубоком знании человеческой психологии и вдохновении, с кото-



рым он работает. Честно признаюсь: мои познания в области физиологии мозга крайне ограничены, и тем не менее возьму на себя смелость предположить, что интеллект Абе-салома Викторовича, по-видимому, не знает передышек. Обсуждается ли серьезная производственная проблема, когда «на карту» поставлены сотни тысяч рублей, решается ли вопрос о том, как раздобыть 100 высокопородных телок для подсобного хозяйства, или надо выбрать мебель для комбинатовского профилактория, — он отдается делу целиком, весь загорается, забывая в каждую данную минуту о чем бы то ни было другом, не связанном с этим конкретным делом. Увлекается так, что невольно начинаешь опасаться: вдруг вся, без остатка, энергия сгорит в этой сиюминутной творческой вспышке? Но нет, переходит к новой проблеме — и становится ясно, что горячего пока сколько угодно.

Еще один случай на приеме у директора. Вошел явно не уверенный в своем праве на просьбу молодой человек (товарищи, должно быть, заставили написать заявление: на 25 рублей, которые он из своих кровных истратил на ремонт прибора).

— Получишь восемьдесят! — решает директор.

— Но зачем мне столько?..

— Сколько лет у нас работаешь? Три? Сколько раз обращался за помощью? Ни разу!

Директор в восторге.

— Вы понимаете, — позже делится он с сотрудниками своей радостью, — он ведь не стал дожидаться, пока бухгалтерия деньги выпишет — свои положил, вот что дорого!

Эмоции, однако, эмоциями, а чуть раньше, с ходу оценив человека, Чантурия доверяет ему ответственной задачей: с помощью того самого прибора создать еще одну (не помешает!) преграду на пути возможных (чем черт не шутит?) злоупотреблений в некоей производственной сфере.

...Предвижу вопрос: а не сужение, не обеднение ли это темы — столько рассказывать об одном обычном директорском приеме? Нет. Руководитель познается через отношение к подчиненным. Что же касается сторон производственно-экономической и социальной — уровня труда и жизни трехтысячного коллектива Маднеульского горно-обогатительного комбината, то достаточно выразительна пропасть между его вчерашним и сегодняшним днем.

**Т**РУДНО догадаться, за какие такие особые заслуги Хития Дашниани («Хития») получил путевку во Францию и кому вообще пришло в голову позаботиться о том, чтобы он попал в состав группы из двадцати пяти человек, собранных со всей Грузии. Сам Хития и пальцем бы не пошевелил для этого. То ли кто-то из близких заморочил ему голову, то ли на работе, куда поступила путевка, не было желающих ехать... А Хития человек безотказный, уступчивый, вот и поехал. Хотя достопримечательностям Франции предпочитал игру в шахматы в местной парикмахерской. Реакцией его на великолепие Эйфелевой башни, Нотр-Дам и Лувра было: «Ты подумай, а, вот отгрохали!» Но и удивлялся он просто потому, что считал себя обязанным удивляться. Это ясно и читателю, и самому Хития. На самом деле вся эта красота его вовсе не интересовала и не вызывала никаких эмоций, просто потому, что сознание его не созрело для восприятия подобного. Он был мастер рассказывать ку-таисские анекдоты, и игра в шахматы с парижским парикмахером привлекала его куда больше, чем парижские красоты. Когда Хитию спрашивают, как ему понравился

Реваз ЧХАРТИШВИЛИ

НОВЕЛЛЫ

РЕВАЗА

МИШВЕЛАДЗЕ



Париж, он отвечает: «Да, вообще... недотеп хватает... Парикмахер тамошний девять партий мне проиграл, три вничью сыграл... и только две выиграл... Вот тебе и парижанин!» — закончил он под огулительный хохот, удивляясь, что, мол, смешного в том, что он предпочел играть в шахматы с парикмахером, чем слоняться по Монмартру, что, впрочем, его никто не обязывал делать. Все дело в том, что Хития «не рожден для путешествий». В этой простой истории много подтекста. Основное же то, что безрассудно отдавая дань моде, стараниями влиятельных родственников отправляются путешествовать люди, не созданные для путешествий.

В новеллах Реваза Мишвеладзе немало подобных безобидных персонажей. Впрочем, в их безобидности кроется некое чудачество. Типичный пример тому сапожник Майсурадзе из новеллы «Гуджу». «Гуджу сгорал от любопытства. Ему до смерти приспичило узнать, что происходит в этом здании. Скоро уже полгода, как на улице Капитана Бухайдзе появилось новое учреждение, и до сих пор никто не мог толком объяснить Гуджу, что это за учреждение». Вахтер никак не сумел втолковать ему, почему вход без пропуска запрещен. Любопытство Гуджу перешло все границы. Он не придумал ничего умнее, как напившись вдрызг, прикатить на фазтоне с гармонистом и барабанщиком и с песнями и плясками проникнуть в здание. Он, конечно, так и не понял, что происходило в стенах этого четырехэтажного белого особняка, но любопытство его было удовлетворено: он наконец попал туда и собственными глазами увидел тех «людей с портфелями, которых утром привозит автобус, и они бегут наперегонки к воротам, а в пять часов снова приезжает автобус и увозит их». Возможно, причина чудачества Гуджу Майсурадзе таится не только в любопытстве, а и в том, что ничто не должно быть сокрыто от него. Таким образом находит выражение его отношение к окружающей действительности, его стремление постоянно находиться в тесной связи со временем и пространством, таким образом, наконец, он находит опрздание своему существованию. В его странном, но оправданном требовании знать, что делается в таинственном институте, выражено желание большей части человечества: каждый сам себе голова и его судьба не должна вершиться без него.

Многие персонажи Реваза Мишвеладзе отличает какое-то неуемное стремление к общению с людьми, обществом, желание сохранить контакт с окружающим миром. Нестор Хундадзе («Страсть»), древний уже старик, не найдя иного пути поддержать связь с обществом, вынес на ярмарку для продажи старые

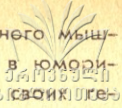
плотничьи инструменты. Это единственная для него возможность придать смысл своему существованию и оправдать его.

С первого взгляда Шалва Ниорадзе («Вот причина») такой же рядовой человек, как и герои других рассказов Реваса Мишвеладзе. Он инертен и ничем не примечателен. Но господствующий в быту догматизм и отсутствие у человека собственного мнения возмущают его. Выведенный из себя, он поступает так, как поступил бы любой другой человек его взглядов и убеждений. Шалва Ниорадзе был одним из восьми членов делегации, посланной за границу для ознакомления с родственным предприятием. Руководил делегацией Нестор Джгереная, который постоянно опасался, как бы чего не вышло. Нестор Джгереная и ему подобные в силу своей ограниченности не видят бессмысленности своего поведения. И острое критики Реваса Мишвеладзе направлено именно против них. В поведении же Шалвы Ниорадзе писатель видит простоту и человечность, истинную сущность обыкновенного человека с его внутренним миром и выработанными правилами и привычками. Шалва Ниорадзе не хочет мотивировать свои поступки «исключительной моралью советского человека» и выглядеть беспомощным и жалким, ведь потребность в общении характерна для всех людей независимо от их национальности. Шалва Ниорадзе — личность, он не может жить и мыслить по подсказке, причем его независимость не мешает независимому существованию других.

Художественный мир новелл Р. Мишвеладзе весьма обширен. Самый важный объект для писателя — человек, человек и его будни, его незамысловатая и непретенциозная жизнь.

Иные его герои всецело поглощены повседневными хлопотами, иные расстроены пренебрежительным отношением к их достоинству какого-нибудь бюрократа («Мученик», «Энуки»). Одни инертны, другие чрезмерно любопытны и ради удовлетворения своей «страсти» идут на нарушение элементарных этических норм, хотя их поведение вроде бы и не выходит за рамки безобидной развязности («Гуджу»). Есть и совершенно равнодушные люди, занятые только своими интересами, они ничему не удивляются и не стараются определить своего места в жизни («Хития», «Доля»). И все-таки очень трудно «разложить по полочкам» характеры героев писателя. Все зависит от ситуации, в которую попадают его персонажи. А ситуаций этих столько, сколько новелл у писателя. Каждый из героев живет и мыслит по-своему, по-своему относится к людям и окружающей действительности.





У писателя очень оригинальный стиль художественного мышления, его «почерк» узнается сразу. Новеллы написаны в юмористически-гротесковом плане. Но автор не высмеивает своих героев — его персонажи сами попадают в комическое положение либо по своей вине, либо по вине других. Писатель беспощадно бичует взяточничество, ограниченность, бюрократизм, бессердечие и многие другие пороки. Есть новеллы, герои которых не заслуживают порицания и не попадают в курьезные ситуации, напротив, они, казалось, являют собой образец добра и человеколюбия, и все же писатель рассказывает о них с юмором. Это стиль Реваз Мишвеладзе, присущий только ему и отличающий его от коллег. Однажды в беседе с корреспондентом газеты «Ахалгазрда комунисти» писатель сказал: «Члены моей семьи говорят, что в процессе работы я угрюм. Но что поделаешь? Дело в том, что я никогда не стараюсь рассмешить читателя, чтоб привести его в хорошее настроение. Я рассказываю серьезно, но потом оказывается, что все-таки «прокрался» юмор».

Какой бы социально острой проблемы ни касался Реваз Мишвеладзе в своих новеллах, они даны в так называемом «легком стиле», благодаря которому писателю удается непринужденно и точно «вылепить» своего героя. Автор избегает напыщенности, пишет точно и лаконично, не прибегая без нужды к образным выражениям.

Чем проще, незамысловатее написан рассказ, тем он, на мой взгляд, лучше. Еще Пушкин, говоря о художественных особенностях рассказа, подчеркивал, что необходимо употреблять точные и ясные слова. Кричащие фразы скрывают скудость мысли. Когда писателю есть что сказать, словесной мишуре нет места. И нужно ли «приукрашивать» то существенное, что заставляет нас задумываться. Кроме того, непосредственность повествования — прямой и лучший путь к восприятию. В своих новеллах Реваз Мишвеладзе избегает метафор. У каждого из его персонажей своя разговорная лексика, хотя они из одного уголка Грузии. Подобного рода речевая характеристика помогает автору лучше раскрыть духовный мир героев. И в этом — одна из особенностей его стиля.

Новеллы Р. Мишвеладзе читаются легко, с интересом. Простота художественной формы обусловлена оригинальным стилем художественного мышления и манерой письма, присущей Р. Мишвеладзе. Такой стиль характеризовал и классика грузинской литературы Давида Квдиашвили.

В литературной критике уже говорилось о родстве стилей Д. Квдиашвили и Р. Мишвеладзе. И не удивительно, что персона-

жи новелл Р. Мишвеладзе заговорили не только на языках народов нашей страны, но и на иностранных языках. С диалектом, колоритом, самобытностью этого уголка Грузиикомились многие и многие читатели разных национальностей.

Первые новеллы Реваса Мишвеладзе появились десять лет назад. Многие «братья по перу» отнеслись к ним скептически. Причиной этого было то, что Реваса Мишвеладзе знали как бескомпромиссного, принципиального критика. Художественная проза была его новым амплуа, и довольно долго на это смотрели с недоверием. Но отступать писатель не собирался. Это было не просто «пробой пера». Он занялся прозой всерьез, публикуя одну новеллу за другой. Они тотчас привлекали внимание широких читательских масс. Реваз Мишвеладзе, новеллист, создал свой, совершенно новый художественный мир. Все, о чем он пишет, — это жизненная правда, увиденная критическим глазом писателя. В этой правде — привлекательность, обаяние и неповторимость новелл Р. Мишвеладзе. Писательская смелость Реваса Мишвеладзе проявилась еще раньше в его критических заметках, и он не только сохранил ее без потерь, но и обогатил в своих новеллах. Здесь можно сказать и о высокой гражданственности писателя, его бескомпромиссной борьбе за правду, без которых его новеллы не имели бы художественной ценности.

Персонажи Р. Мишвеладзе можно разделить на две группы: на тех, кого он любит, и на тех, кого не любит. И если не любит, то на то есть причины — моральное падение, порочность, безнравственность. Персонажи, заслуживающие симпатию, не отличаются ссбой добродетелью и высокой моралью. Они подкупают своей непритязательностью, простотой, непретенциозностью, их отличают безобидность и наивность. Этим они и вызывают сочувствие и любовь писателя. Таковы Хития («Хития»), Гуджу Майсурадзе («Гуджу»), Како Ратиани («Кому я нужен...»), Спиридон («Спиридон»), Шалва Ниорадзе («Вот причина») и другие.

Своей странностью и неординарностью запоминается Како Ратиани («Кому я нужен...»). Этот «высочка» всполошил всю деревню. Выдав себя за начальника геологической партии, которому якобы нужно было провести подготовительные работы (а для этого нужна рабочая сила), он нашел желающих, пообещав солидное вознаграждение. Крестьяне привели в порядок проселочную дорогу, убрали старый ветхий мостик через реку и вместо него перекинули прекрасный новый мост, в центре деревни начали строительство бани. Но когда наступил день выдачи зарплаты, Како Ратиани исчез. А в записке, которую он оставил, было: «Видит бог, я люблю вас. Покидаю вас потому, что близится время ра-



сплаты. Я ничего не украл у вас и ничего не отнял. Ваш Како Ратиани». «Аферист» Како Ратиани — человек, сеющий добро. У него нет средств и возможности принести пользу жителям деревни. Прибегнув к безобидной лжи, он собрал людей и на благо их же деревни заставил работать. «Если он и заставил нас работать, то опять же на себя работали: мост построили, дорогу отремонтировали, баню отгрохали — все для себя. Ему-то какая выгода от этого? Что он взял у нас?» — говорит один из них. А другой с сомнением спрашивает: «Взять ничего не взял, но как ты считаешь, что ему нужно было от нас?».

Скептицизм людей, не верящих в добро, силен даже тогда, когда оно налицо. Како Ратиани знал, что в его бескорыстие никто не поверит, и его опасения оправдались — к его поступку отнеслись подозрительно: «Думаешь, из-за нашего моста и бани приехал он черт знает откуда?».

Но он именно для этого и приехал. Он расшевелил людей, желая принести им пользу, заставил их работать для своего же блага. Он знал, что скептики спросят с него за его странные действия. Реваз Мишвеладзе выступает за веру в добро, за полное доверие между людьми. Это должно стать вопросом первой необходимости. Прекрасный пример тому новелла «Благодетель». Главный герой произведения Гига Хачидзе принял неожиданное решение: с трудом накопленные за пятнадцать лет две тысячи рублей он отдал многодетной и нуждающейся в помощи семье Эрмине Сахамберидзе. Именно с этого благородного поступка начались его неприятности. В его благие намерения не поверили ни Эрмине, ни его семья. Надо сказать, что поступок Гиги Хачидзе имел свое психологическое оправдание. Сначала его жизнь выбилась из привычной колеи из-за ошибок политического характера, и лучшие годы жизни были отравлены в результате нелепости и недоразумения. Потом же, перестав надеяться на лучшее будущее и махнув рукой на все, Гига отдает деньги незнакомому человеку. Сам Гига считает, что этим поступком он порывает со своим настоящим и будущим. Но не так-то просто оказалось порвать с реальностью, наоборот, он вплотную столкнулся с ней. И вместо душевного покоя, который он рассчитывал обрести, на его долю достаются одни волнения и беспокойство. Он еще раз убедился, что взаимоотношения людей далеко не просты, за самым обычным поступком они видят подчас что-то из ряда вон выходящее. Гигу

убеждают: «То, что ты сделал, нельзя расценивать как добро. Вернее, это наивное, глупое добро. Я очень хочу верить, что ты из добрых побуждений подарил деньги семейству Сахамберидзе, но не могу. Все, что ты рассказал, похоже на выдумку, к тому же неубедительную. Люди давно отвыкли от поступков подобного рода». Гига Хачидзе ошарашен, он не хочет верить своим ушам и в растерянности спрашивает:

«— Да знаешь ли ты, что я эти две тысячи рублей пятнадцать лет копил?»

— Для кого? — вскользя обронил Ушанги.

— Для себя.

— Пятнадцать лет собирал для себя, а подарил этим Сахамберидзе. Так? — Шапочник нехорошо засмеялся и сложил руки на коленях. — Да кто в это поверит, Гига, дорогой? Послушай, выдумка хоть чуть-чуть должна походить на правду».

Душевное напряжение Гиги доходит до предела. Он доказывает, что отдал Сахамберидзе свои деньги безо всякой «задней мысли», по доброй воле, а не по чьей-либо просьбе. Просто он решил, что эти деньги в его неустроенной жизни ничего не решат и лучше помочь тому, кто в них нуждается. Но этого никто не захотел понять. Ведь раньше ничего подобного не случалось. «Знаешь ли ты еще кого-нибудь, кто так же собирал бы деньги, а потом дарил их?» — спрашивали его. Гиге трудно ответить на этот вопрос. Видимо, этого никто никогда не делал. Поэтому в бескорыстность его поступка не верят и видят в нем больше подозрительного, чем благородного: а может, денег-то, что передали Эрмине Сахамберидзе через Гигу, было больше и он половину прикарманил. Иначе почему же он не взял расписку в получении денег? И теперь из-за этой «половины» они донимают Гигу и убеждают его, что денег, которые он дал, недостаточно на пропитание многодетной семьи Сахамберидзе. Предательство людей, их неверие в добро, подозрительность довели Гигу Хачидзе до крайности — он решил покончить с собой. Но в последнюю минуту «словно какая-то неведомая сила остановила его, он перебрался назад, спрыгнул на мост и побежал. Его тянула назад та неведомая сила, которая зовется любовью к человеку. Любовью, которая рассеет недоверие и подозрение и осветит дорогу к будущему». К ней и призывает писатель: «Я желаю тебе, дорогой читатель, чтобы эта неведомая сила не покидала тебя в самые тяжелые минуты твоей жизни». Эти слова в финале новеллы звучат как напутствие. Они вселяют надежду на то, что недоверие не задушит живительные корни веры.

Характер и внутренний мир героев новелл Р. Мишвеладзе



раскрываются в конкретной ситуации и обстановке. Шота Деисадзе, Давид Исакадзе и Серго Цинцадзе («Надя») были закадычными друзьями. Случилось так, что по «долгу дружбы» Серго Цинцадзе стал выпивать. Тогда Деисадзе и Исакадзе по просьбе жены Серго Нади решили спасти его, вернуть в лоно семьи. С этого все и началось. Забота и внимание к другу привели к тому, что они оказались в плену у Серго Цинцадзе и теперь сами нуждались в помощи.

Мурман Нацваладзе («Луиза») человек, измученный одиночеством. Но в силу инертности он ни разу не попытался изменить свое однообразное существование. Обстоятельства привели на порог его убогого жилища представительницу прекрасного пола, и в душе его вспыхнуло доселе неизведанное чувство. Им овладели бесконечная нежность и теплота, жизнь его стала содержательной. Неожиданная близость этих двух людей изменила их жизнь, будущее обрело для них смысл.

Большинство новелл Резаза Мишвеладзе, как отмечалось выше, рассказывают о странностях характера и привычек людей, о курьезных случаях, которые происходят с ними. Написаны они в юмористическом тоне, язык легок и прост. Но юмор оборачивается беспощадным сарказмом, когда он касается острых проблем общественных взаимоотношений. Персонажи этих новелл социально опасны, они отнимают веру в радость жизни, душат светлые порывы людей. Прекрасный пример тому новелла «Мученик», главный герой которой из-за бездушия и бессердечия бюрократа не смог разрешить элементарного вопроса — добиться разрешения на постройку стойла в своем же дворе, на свои же средства, для своих же лошадей.

К новеллам такого характера можно отнести и «Энуки». Главный герой, Энуки Ткабладзе, известный в городе актер, часто обращался к председателю горисполкома Кезевадзе с различными просьбами, но не для себя, а для других. А тот, ограничиваясь пустыми обещаниями, цинично говорил, что, мол, «ты свое дело сделал, побеспокоился, уважил человека, а дальнейшее не твоя забота». И вот настал момент, когда группа работников театра стала ходатайствовать перед горисполкомом о выделении квартиры для Энуки Ткабладзе. Тогда и начались мучения Энуки. Выпишет ему горисполком ордер на квартиру, тот радостный на следующий день бежит смотреть свои новые «апартаменты», а туда, оказывается, уже вселилась многодетная, нуждающаяся в квартире больше, чем он, семья. Возвращается он, еще и удрученный чужой бедой, к Кезевадзе. И снова тот находит ему квартиру, но история повторяется. И так до

гех пор, пока один из «насилно» вселившихся в его квартиру жильцов не откроет благородному актеру глаза на преступные и вероломные дела Кезевадзе: «Мы с женой всю жизнь работаем на консервном заводе. Вы глубоко заблуждаетесь, если думаете, что в вашу квартиру мы ворвались как разбойники. Дело обстоит не совсем так! Сейчас я вам все объясню! Что стоит Кезевадзе нас выселить? Ничего! Но он этого не сделает! Я вам расскажу почему. Вчера поздно вечером через своего шофера он вызвал меня к себе. Кезевадзе был один в кабинете. «Эрасти, сейчас же отправляйся на улицу Ниношвили, в бывшую квартиру Самсона Цамаладзе, смотри, чтоб тебя не опередил Ткабладзе». Я не хотел именно вам перебежать дорогу, даже соглашался еще немного подождать, но Кезевадзе настаивал: «Делай, что тебе велят, или забирай свои деньги обратно и ступай на все четыре стороны». Я пытался возразить, но напрасно. «Пару дней прояви твердость, а там все уляжется, не сомневайся, в таком деле мы уже не раз испытывали Ткабладзе!». Это чистейшая правда. Вы человек мудрый. Как же вы не сообразили подмазать Кезевадзе? Он без взятки не только к квартире, даже к конуре никого близко не подпустит!».

Рассказывает писатель будто бы о некоем честном товарище, а на самом деле выводит на чистую воду бюрократившееся должностное лицо, которое ни во что не ставит человеческое достоинство, общественную мораль и закон. А таких людей еще немало, и самое печальное то, что они порой занимают руководящие посты. Чаще всего должность делает человека бюрократом и засасывает его в болото мещанства и взяточничества («Лестница», «Павле», «День первый», «Я же вырастил тебя в клетке», «Переводчик» и т. д.).

Раздраженный бесконечными проверками вышестоящих органов директор фабрики («Детский сад»), при которой находился детский сад, по «мудрому» наущению своего заместителя-единомышленника решил закрыть его. И заведующая садом Ксения Хвитаридзе осталась без работы. Целью же директора фабрики было отомстить заведующей за «преступление», которое заключалось в том, что на общем собрании рабочих она одна сказала правду о недостатках работы фабрики.

И нерадивый руководитель, не считаясь с существующими законами, с интересами и нуждами семей своих работников, закрыл детский сад.

Во всех новеллах прослеживается четкая критическая позиция писателя. Он ведет борьбу не только с безнравственностью



отдельных лиц, но и с догматизмом и формализмом в нашем быту. Эта проблема нашла свое отражение в новелле «Доля». Герой новеллы вызван на созещание. Но прежде чем добраться до зала заседаний, ему приходится улаживать вопрос с гостиницей и прочим. А когда наконец все улажено и герой попадает на заседание, он не понимает, зачем и по какому вопросу здесь находится. Он недоумевает, почему его сюда вызвали, оторвали от дела, какова его роль в этом мероприятии. Забота у этого человека одна: «...Это, гм... как его, где-то, говорят, магазин для нас..., может, купить чего-нибудь для детей», — обращается он к своей соседке в перерыве. Соседка же в течение всего заседания слушала путевые приключения другого своего соседа. Она прекрасно знает, где находится этот «их» магазин: «В конце коридора, на втором этаже, слева от лестницы. Пошевеливайтесь, сейчас все туда набегут». Интересы участников этого мероприятия сводятся к одному: «Без конца открывалась дверь зала. Гости поодиночке и группами выходили в коридор и медленно, как бы равнодушно, шли в конец коридора, но, миновав огромное зеркало, сразу ускоряли шаг, а дойдя до лестницы уже бежали». Как известно, импортный товар — дефицит, и в конце концов на кого-то может не хватить. Но критический гафос писателя гораздо масштабнее. Ни один проект мероприятия, подготовленный формально, не идет дальше листков бумаги с хорошо составленным протоколом и не приносит никакой пользы.

В новеллах Реваза Мишвеладзе нет ничего выдуманного, созданного художественной фантазией писателя. Его новеллы питают реальная действительность. Поэтому столь широк круг его проблем. Сюжеты его произведений жизненны, правдивы.



**А**ЛЕКСАНДР Каландадзе завершил трилогию, посвященную историческим событиям в Грузии XVIII—XIX веков. Главный герой первой книги трилогии — Антон Католикос, второй — Соломон Додашвили, третьей — Илья Чавчавадзе. Цель автора заключалась в том, чтобы выделить основные этапы развития грузинской мысли и ее главных представителей — людей, наиболее полно и ярко воплотивших в себе особенности национального мышления на каждом данном этапе. Трилогия имеет большое познавательное значение, ибо ее автор, известный специалист в области истории грузинской литературы и журналистики, соединяет в своем произведении два начала — научное и художественное.

А. Каландадзе воссоздает картину исторической эпохи, ее колорит и драматические перипетии. В качестве схемы романного повествования он берет биографию. Однако биография — это всего лишь фактический материал, на котором возводится художественное строение романа. Автор вводит в повествование и вымышленные персонажи, необходимые для более полного воплощения событий или явлений. Но и у

Сосо СИГУА

# Роман о поэте



вымышленных персонажей почти всегда есть реальные, исторические существовавшие прототипы.

Третья книга трилогии имеет символическое название «Снятие с креста». А. Каландадзе изображает не какие-то отдельные эпизоды из жизни Ильи Чавчавадзе, а всю его жизнь, с детства до трагического конца. Главного героя окружает множество реальных и вымышленных персонажей. На наших глазах чувствительный, мечтательный ребенок взрослеет, мужает, превращается в национального лидера, в нового Спасителя. Писатель достоверно отображает студенческие годы своего героя, его борьбу с «отцами», борьбу с «братьями», борьбу с «детьми»; раскрывает духовную жизнь Ильи Чавчавадзе, его творческий мир, обстановку в семье, дружеские связи, рисует ту накаленную атмосферу, в которой довелось жить выдающемуся поэту. Жизнь и творчество Ильи Чавчавадзе были заполнены непрерывной полемикой и борьбой — борьбой с обывателями и интригами, ренегатами и инакомыслящими. Особенно удались А. Каландадзе драматические, острые ситуации. Те же места романа, где повествование носит мирный, эпический характер, производят, на наш взгляд, меньшее впечатление. По-видимому, именно поэтому первые его главы кажутся несколько рыхлыми. Однако с момента, когда имя Ильи Чавчавадзе оказывается в центре общественной жизни, повествование обретает четкость, напряженность, целенаправленность, и книга читается с неослабным интересом.

А. Каландадзе изображает Илью Чавчавадзе и как художника, и как общественного деятеля, и как личность. Отдельные факты из жизни и деятельности Ильи Чавчавадзе подчас могут вызвать удивление и даже досаду — зачем, спрашивается, надо было ему, художнику, служить председателем банка или редактировать газету? Но ведь любое начинание в жизни Ильи Чавчавадзе — будь то основание какого-либо общества или создание стихотворения — всегда было обусловлено и оправдано его национальной концепцией и только взятое отдельно, в отрыве от общего может показаться деталью и мелочью. Перед Илеей Чавчавадзе стояла глобальная проблема — «судьба Грузии», для разрешения которой только печатного слова было недостаточно. Необходимо было создать национальные институты, способные остановить процесс распада и перерождения грузинской психики. Любая практическая деятельность почти всегда враждебна свободе творчества. Возможно, именно этим и объясняется тот

печальный факт, что после 50-ти лет Илья Чавчавадзе не создал ничего значительного в литературе. Это понимала и его жена Ольга, настойчиво просившая мужа оставить профессиональную деятельность и целиком заняться творчеством. «Ведь я выходила замуж за поэта — не за банкира», — с горечью думала она.

Первое сюжетно-смысловое ядро романа — борьба с «отцами», ею заканчивается экспозиция и начинается то основное, что хочет сказать автор. Столкновение Ильи Чавчавадзе со старым поколением вызвано новыми идейными расхождениями; Илья придерживался взглядов, проповедуемых лучшими представителями русской мысли и литературы того времени. А. Каландадзе изображает лагерь «отцов» не в общих чертах, а дифференцированно. Особый интерес представляет созданный им образ Ивана Кереселидзе. Редактор «Цискари» целиком на стороне Ильи Чавчавадзе, но вынужден считаться со взглядами подписчиков, быть послушным воле тех, в чьих руках судьба единственного по тем временам грузинского журнала.

Стойкий, упорный характер Ильи Чавчавадзе проявляется уже в ранней юности. В молодые годы складывается его своеобразная натура, шлифующаяся и закаляющаяся в жизненных конфликтах, в творческих поисках, в служении патристическим идеалам. Борьба с «отцами» завершилась победой молодого поколения, утвердившего новый стиль мышления, новые идеи. Движение за торжество новых идей возглавлял и направлял Илья Чавчавадзе, наиболее ярко и полно выразивший лицо эпохи, раскрывший перед грузинской нацией новую страницу истории. Однако эта борьба со старым никогда не перерастала в сведение личных счетов. Недаром Илья Чавчавадзе всю жизнь оставался искренним почитателем Григола Орбелиани.

Роман знакомит нас с редакторской деятельностью Ильи Чавчавадзе, с его службой в банке, отношениями с коллегами, родственниками, крестьянами. Через весь роман А. Каландадзе проходят многочисленные художественные образы, созданные Ильей Чавчавадзе; произведение проникнуто бескомпромиссной позицией, настроениями и мироощущением автора «Отаровой вдовы», и если акцент в нем делается не на творческом процессе, а на жизненных коллизиях, то только потому, чтобы придать повествованию эпический и драматический характер. Повествование разворачивается согласно логике сюжета, каждое общественное явление и каждая творческая проблема воспринимаются через призму личности героя.



Второе сюжетно-смысловое ядро романа — борьба «братьями», которая начинается с учреждения банка и строится в период, когда Илья Чавчавадзе становится редактором «Иверии». Несмотря на многочисленные нападки на Илью, на ложные обвинения, его единогласно избирают председателем банка.

А. Каландадзе показывает циничное отношение к творчеству и деятельности Ильи Чавчавадзе со стороны «народников» и их единомышленников (Давида Кезели, Гиги Кипшидзе, Степанэ Чрелашвили, Утургаули, Нико Хизанишвили). Особенное впечатление производит дуэль Ильи Чавчавадзе с Нико Николадзе, к счастью закончившаяся примирением. Но главное в этой части романа — многолетняя «война» Ильи Чавчавадзе с Иванэ Мачабели, в основном из-за банка. И у того и у другого были сторонники в правлении банка, поэтому решающего преимущества не добился ни один из них. Чавчавадзе выбирали в председатели, Мачабели — в директора. Об их публичных столкновениях, о колебаниях «избирателей», о тайных интригах и происках в их среде А. Каландадзе рассказывает предельно объективно, со знанием дела. Илья Чавчавадзе предстает перед нами как человек спокойный, даже невозмутимый, не теряющий равновесия и хладнокровия даже в пылу полемики — полная противоположность Иванэ Мачабели. Роковая ошибка Мачабели, по мнению А. Каландадзе, заключалась в том, что он анонимно опубликовал книгу, в которой всячески поносил Илью Чавчавадзе. Общественность прониклась симпатией к оскорбленному. Это и погубило Мачабели, лишило его сторонников — из шестисот голосов пятьсот сорок оказались против него. Это было полным провалом.

Параллельно идет рассказ и о созданных в этот период Ильей Чавчавадзе замечательных произведениях — «Отшельник» и «Отарова вдова». Автор рассматривает их как с точки зрения панегиристов, так и с точки зрения хулителей, давая читателю возможность самому разобраться в том, кто был прав, а кто ошибался.

Людей выдающихся, будь то писатель или политический деятель, часто изображают так, будто все, чего они достигли, давалось им без всякого труда, будто путь их был устлан розами, и не было у них врагов, и сами они были безгрешны. В результате такого подхода и рождаются стерильные характеры, безжизненные, отлакированные до блеска манекены. У великого человека почти всегда есть соперники и недоброжелатели, достойные или недостойные, но тем он и велик, что силь-

ная воля, талант и проницательность его преодолевают все и утверждают свои принципы. Но принципы эти должны быть определены самой действительностью и соответствовать настроениям большинства. А. Каландадзе удалось показать нам характер Ильи Чавчавадзе, художника и борца за общественные идеалы, со всеми происходящими внутри и вокруг него драматическими перипетиями.

Созданный писателем художественный образ Ильи Чавчавадзе связан с так называемой моделью «сильной личности», ибо автор повести «Человек ли он?!» отнюдь не был романтически настроенным, сентиментальным мечтателем. У него был характер диктатора, но именно такой характер требовался для того, чтобы превратить административно объединенный с помощью России грузинский народ в единую и неделимую нацию.

Литература, банк, газета, общество по распространению грамотности, театр — все это было основано, учреждено, создано Ильей Чавчавадзе, его острым умом, непоколебимой волей и твердым характером, стало частью его жизни. Всему этому он дал направление, наметил правильный путь. Вот почему он так болезненно переживал, когда кто-то ополчался против его принципов. Однако это свое личное, индивидуальное, выпестованное и взлелеянное он сумел поднять до уровня общегрузинского. А посему отрицание, опровержение принципов Ильи Чавчавадзе мы воспринимаем как отрицание и опровержение принципов единства и самобытности Грузии, ибо именно он яснее и отчетливее других видел не только современную ему действительность, но в перспективе и будущее. А. Каландадзе не боится и того обстоятельства, что его герой далеко не всегда бывал прав. Однако, ошибаясь в частностях, он всегда был прав в целом, концептуально. Детали утрачивали свое значение перед лицом глобальных проблем.

Роковой для Ильи Чавчавадзе оказалась его борьба с «детьми». А. Каландадзе уделяет этой проблеме особое внимание, тем более, что она мало освещена в нашем литературоведении. Писатель показывает, как широкая полемика в прессе привела к цидамурской трагедии, как слово стало делом. Позволяя читателю заглянуть за кулисы событий, А. Каландадзе убеждает его в том, что трагедия была неизбежна и неотвратима. Убийцы поэта — все эти шавлишвили, модзгвришвили, бербичашвили, инашвили — были всего-навсего орудием. Ситуация сложилась таким образом, что если бы эту позорную акцию не совершили они, это сделали бы другие: так




или иначе, Илья Чавчавадзе был обречен. В этом заключается третье сюжетно-смысловое ядро романа.

Человек стойких национальных и гражданских убеждений, он вступил в борьбу с новым поколением, с «детьми», отказавшимися идти по проторенной им дороге. Обладая твердым, непреклонным, прямолинейным характером, он не мог вынести отступничества молодого поколения. Его полемика с Н. Жордания, И. Гомартели, А. Джорджадзе свидетельствовала о том, что на общественной арене появилась новая сила. А. Каландадзе считает, что раскол начался уже в 90-х годах, когда возникла группа «Квали». Программе национальной консолидации, выдвинутой Ильей Чавчавадзе, социал-демократия, «Месаме даси» противопоставила идею классовой консолидации. В 900-х годах отношения Ильи Чавчавадзе с социал-демократами особенно обострились. Однако А. Каландадзе показывает, как по-разному относились к Илье Чавчавадзе в лагере социал-демократов. Одни называли поэта «шпионом», «доносчиком», «кровопийцей», другие — самоотверженно защищали его. Писатель сознательно меняет имена политических деятелей того времени, хотя читателю все равно нетрудно догадаться, кто есть кто, и убедиться в единодушии приговора, вынесенного Илье Чавчавадзе Герваси Багнарадзе, Бено Хордели, Карло Варденидзе вкупе с теми, кто, как Харитон Мечамуре, примкнул к ним в поисках личной выгоды и возможности выдвинуться.

А. Каландадзе не обходит молчанием и роль жандармерии, собирательным образом которой является генерал Степанэ Дударели, брат ближайшего друга Ильи Чавчавадзе. Генерал с детства ненавидел будущего поэта, он и в жандармерию поступил для того, чтобы помешать ему идти намеченным путем. 45 лет ждал Дударели своего часа, и не только ждал, но и исподволь готовил его: он приставил к редактору «Иверии» тайных соглядатаев, опутал его сетью интриг, воздвиг на его пути искусственные барьеры. Заметив же, что против него в свою очередь ополчились социал-демократы, постарался воспользоваться этим обстоятельством — он содействовал избранию его в Государственный совет, хорошо понимая, что в революционной ситуации этот факт еще больше настроит против него социал-демократов. И он действительно стал одной из причин трагической гибели поэта.

При этом А. Каландадзе отнюдь не пытается представить Илью Чавчавадзе таким агнцем божьим, не затушевывает его собственных недостатков, в немалой степени способствовавших



трагической развязке, — его чисто человеческих слабостей, сурового рационализма, диктаторских наклонностей, педантичности, требовательности. На первый взгляд без всякой на то причины Илья Чавчавадзе взъелся на своих крестьян, требуя от них дисциплинированности и честности, однако времена уже были не те — и крестьянам не до интересов князя. Все это вместе взятое и создало благоприятную почву как для деятельности жандармерии, так и для выступлений социал-демократов. Если бы Илья Чавчавадзе прислушался к советам друзей и доброжелателей, отказался от Сагурамо, как отказался Блок от своего любимого Шахматово, его враги лишились бы оснований для нападков. Примечательны слова, с которыми обращается к умирающему поэту один из убийц — Модзгвривили: «Мне тебя не жаль! Оскорбления и унижения научили меня быть беспощадным». Не лишено истины также то, что в сравнении с 60-ми годами в 900-х годах Илья Чавчавадзе выглядел консерватором, а тем более — на фоне наступающей новой эпохи. Это и не удивительно: каждый большой мыслитель, как правило, стремится к воплощению своих юношеских идеалов, рвется к ним упорно и неуклонно, считая изменения, принесенные эпохой, ошибкой молодого поколения, «детей». В такой ситуации конфликт неизбежен. Поэт понимал приближение опасности, в глубине души все же не веря в нее: «Лучше смерть, если на смерть обречет меня мой народ».

Палачи поэта свершили то, что было в обычае у первобытных племен — убили вождя, патриарха. Однако, если для первобытных племен такая расправа была нормой, законом жизни, суровой необходимостью бытия, то в цивилизованном обществе это — тяжчайшее преступление.

Илья Чавчавадзе — главная фигура романа, с ним связаны почти все сюжетные линии, воссоздающие панораму эпохи. Пространственно-временная канва романа заполнена конфликтами, параллельными мотивами, вставными линиями, интеллектуальными диалогами, постепенно и последовательно раскрывающими, проясняющими замысел автора.

И хотя автор раскрывает перед нами не одну страницу, рассказывающую о довольно щекотливых событиях прошлого, весь роман проникнут чувством веры в добро. Перед нашими глазами встает фигура замечательного поэта, исполинской личности с ее раздумьями, страстями, слабостями и силой духа, фигура мученика и страдальца за веру. И как святого возвеличивает мученический терновый венец, так возвеличивает



Илью Чавчавадзе в глазах потомков трагедия на цицхмурской дороге, его последние слова, обращенные в будущее как предупреждение.

Роман А. Каландадзе настраивает читателя на борьбу со злом, призывает не пассивно проповедовать добро, а активно отстаивать его. Особенно вдохновляет бодрый, оптимистический финал, провозвещающий торжество справедливости: «Поверенный сокровенных дум и чаяний грузинского народа неповерженным возвращается к своему очагу — в Тбилиси, Кварели, Сагурамо, туда, где все дышит памятью о нем и где память эта не сотрется во веки веков».



**З**А КОРОТКИЙ срок на грузинской сцене (в театре им. К. Марджанишвили) поставлено два спектакля по русской классике — по роману Л. Н. Толстого «Анна Каренина» и новелле из романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» «Княжна Мери». Об этих произведениях спорят, несхожесть во мнениях отражает острый зрительский интерес к ним и, подспудно, к вопросу о сценическом воплощении классики, который все еще остается остро дискуссионным. Прозвучало даже мнение, что оно вообще невозможно. «Невозможное» — так озаглавил свою статью о спектакле марджановцев «Анна Каренина» А. Бакрадзе. Анализируя спектакль, критик в большой мере объясняет его просчеты и тем, что произведение одного вида искусства вообще принципиально невозможно воплотить средствами другого вида искусства, как «нельзя человеческое существо, рожденное женщиной, превратить в мужчину, и наоборот». Позволю себе, подключаясь к спорам, оттолкнуться от этого положения. «Перевод невозможен» — утверждал С. Я. Маршак. И добавлял: «Каждый раз это — исключение», т. е. допускал и «исключения», осуществившиеся переводы.

Лина ХИХАДЗЕ

**ЕЩЕ РАЗ  
ОБ ИНТЕРПРЕТАЦИИ  
КЛАССИКИ**



Аналогия не так случайна, как может показаться. Театральные постановки, экранизации литературных произведений — те же переводы с языка одного вида искусства на язык другого, более того, с одного типа мышления на другой, в тех случаях, когда режиссер обращается к классике. А почему, собственно, возникают переводы? Только ли для того, чтобы расширить сферу информации читателей, зрителей? Скажем, не владеющему русским языком дать возможность познакомиться с «Героем...» Лермонтова, с «Анной Карениной» Толстого, не читающих познакомить с классическим произведением по его театральной или кино-версии? Причины возникновения переводов, почти фатально-неотвратимый характер этого явления В. Я. Брюсов объяснял так: «Пушкин, Тютчев, Фет брались за переводы, конечно, не из желания «послужить меньшей братии», не из снисхождения к людям, недостаточно образованным, которые не изучили или недостаточно изучили немецкий, английский или латинский язык. Поэтов при переводе стихов увлекает чисто художественная задача: воссоздать на своем языке то, что их пленило на чужом, увлекает желание «чужое вмиг почувствовать своим», желание завладеть этим чужим сокровищем. Прекрасные стихи — как бы вызов поэтам других народов показать, что и их язык способен вместить тот же творческий замысел» (В. Брюсов. Фиалки в Тигеле).

По-видимому, причины возникновения сценических и экранных версий классики тоже кроются в особой эстетической и духовной потребности воплотить тот же творческий замысел, «чужое вмиг почувствовать своим» (тем более, что между всеми родами и видами искусств, как результат того, что все они имеют один и тот же предмет отражения — действительность, при всех различиях, существует и принципиальная общность). Кроме того, классика сама «провоцирует» возможность все новых и новых прочтений в силу того именно, что она — классика, то есть явление движущееся и изменяющееся, всегда заключающее в себе нечто, что скрыто от современников и адресовано «другим». Поэтому столь естественно желание подключить ее к сегодняшней нашей тревоге, поэтому она нужна нам и сейчас, и впредь. Конечно, сегодняшнее восприятие классики всегда субъективно окрашено, потому что выражает актуальные для воспринимающего настроения. И вот, ни в коей мере не посягая на право перевода, любого перевода, будь то перевод с языка на другой язык, или, тем более, с языка литературы на язык театра или кино, на тайну, загадку, неожиданность (иначе что за искусство?), мы еще раз зададимся этим вопросом: а что такое — искать точки соприкосновения классики с сегодняшним днем? До

1959  
7.12.2011 09:33

каких пределов адаптация классических текстов может считаться уместной? Возможно ли классическое произведение рассматривать как всего лишь первоначальный импульс? Ведь не секрет, что между смыслом классического произведения и его сценическим прочтением наблюдаются иногда такие серьезные расхождения, что невольно думаешь: о, да тут необъявленная война! А речь, повторяю, идет не просто о художественном произведении — о классике. «Классическое произведение — то, которое выдержало испытание временем. С ним вы не потеряете своего времени» (Д. С. Лихачев). Интересно сформулировал суть отношений театра с классикой Л. Аннинский в своей рецензии на гоголевского «Ревизора», поставленного в «Современнике» («Лит. газета», 15 февраля 1984 г.): «Я исхожу не из канона классики, — пишет критик, — я такого канона не знаю; я думаю, если уж заботиться о бережном отношении к классике, то пусть лучше дремлет она в книжных переплетах — вот уж целенькой будет! Всякое же воплощение, всякое прочтение есть вторжение в классика, и тут уж никаких гарантий стерильности. Да и не надо. Вы что же думаете? Я Гоголя иду смотреть в театр? Я Гоголя сам читаю. Я иду смотреть наше взаимодействие с Гоголем». Это верно с одной оговоркой: если классика дремлет в книжных переплетах, то это свидетельство не бережного к ней отношения, а, наоборот, небрежения, забвения. А что в театре нам дорого взаимодействие с Гоголем (Толстым, Лермонтовым) — истинная правда. Только я выделила бы оба слова. Нам дорого взаимодействие именно с Гоголем (Толстым, Лермонтовым), при этом взаимодействие — отнюдь не прерогатива театра. Как читать классика, не взаимодействуя с ним, т. е. не обнаруживая в нем то, что внятно тебе, сегодняшнему читателю, то, что в нем дождалось именно тебя? Как заметил однажды Р. Роллан, когда произведение рождается, оно только «начинает быть». В соотношении с движущимся и меняющимся миром оно и само представляет собою особую, устойчивую и вместе с тем подвижную систему, динамически раскрывающуюся структуру, постоянное и в то же время изменяющееся соотношение эстетически значимых величин. Эта-то его двойственная природа и создает диапазон для интерпретаций, почву для частичной переакцентировки, предпосылки для не вполне тождественных и относительно верных истолкований классического произведения в процессе его исторического бытия. Впечатление, произведенное спектаклем режиссера В. Фокина, Аннинский проверяет в конечном итоге Гоголем, «своим» Гоголем, «плачущим сквозь смех»: «Вот чита-



есть Гоголя, дьявольщина какая-то: все пестрит, щекочет, колется, смех толкается из тебя, и будто чешется все от несообразной смеси, но с полуслова, вдруг — обрыв в бездну, и оттуда — из мути — наивные, детские, беззащитные и доверчивые глаза: я плачу... Это мой Гоголь. И это мой театр, вечный мой «Современник». Вот так, во взаимодействии, произведению, выражаясь фигурально, дается феноменальная возможность прожить вторую, третью жизнь, заново осуществить себя в иных «предлагаемых обстоятельствах». Оно как бы отчуждается, удаляется от самого себя, но это — удаление ради приближения. Это часто — перестановка каких-то акцентов, но — в пределах данного художественного мира, это — всегда — обнаружение потенциалов, скрытых возможностей, заключенных в нем (в противном случае не возникает ли опасность того, что Флоринский называет «зарвавшейся интерпретацией», тенденциозное толкование, когда в «прочтении» скорее реализуется желаемое, чем раскрывается действительное?). Как практически все это достигается? Вероятно, неоднозначными путями, ценой длинного ряда потерь и компенсаций — я об этом не берусь судить. Одно мне кажется несомненным. Современная интерпретация реализуется всегда на путях движения вглубь текста, это всегда глубоко аналитический труд.

Позволю себе снова обратиться к аналогии из области художественного перевода. Я помню, как приковало мое внимание признание Карлоса Шермэна, переводчика с испанского, что в сложной интонации «Осени патриарха» он вдруг услышал другой голос, живущий потаенной жизнью, определивший своим дыханием ритмический рисунок удивительной прозы Гарсия Маркеса — голос великого никарагуанского поэта Рубена Дарио.

Многие знакомые нам решения сценических версий и экранизаций классики свидетельствуют о том, как особенно и интимно проникают их авторы в произведение, в его внутренний ход, его потенцию, в его стилистику, которая никогда не безразлична к стилистической мацере спектакля, во многом ее определяет. Конечно, странно было бы режиссерское решение спектакля непосредственным образом связывать с особенностями литературного первоисточника. И тут и там своя специфика, свои средства изображения. Но режиссерское воплощение, идущее вразрез со стилистикой произведения, мне кажется, вряд ли будет органично для спектакля. Философичен ли спектакль, лиричен ли, сатиричен или публицистичен, выражен ли в нем открыто субъективный авторский план, авторское миропонимание или, наоборот, он отмечен корректной невыраженно-

стью авторского начала — все это и многое другое, как, например, общая режиссерская ориентация, типология актерской игры, заложено уже в самом литературном материале. Так, причины ряда просчетов спектакля «Анна Каренина» (режиссер М. Кучухидзе), мне кажется, во многом кроются уже в самой инсценировке (автор Л. Росеба). Толстому с его широким эпическим дыханием, с его напряженной психологичностью схемы противопоставлены. Инсценировка же обнаруживает тягу к схематичности, к искусственности построений. Кажется, можно догадываться, откуда это происходит. Выраженное, властно заявляющее о себе авторское начало (впрочем, как и противоположная манера) не безразлично не только к тематике, но и к стилистике. Так, одной из особенностей построения системы образов у Толстого является контрастирование, антитеза, а композиция его романов построена на приемах сопоставления и противопоставления. Но это — отнюдь не схематизм, а откровенное проявление толстовской личности, мыслящей контрастно, резко, непримиримо. Да, истинный режиссер — индивидуальность. Он трансформирует классический текст и создает новую художественную реальность по законам своего искусства (если этого нет, зритель сетует на иллюстративность). Все, что он создает, отмечено (должно быть отмечено) печатью его свободного видения, его сердца, ума, опыта. И все же, в полной мере признавая самостоятельный характер искусства и органику его, мы должны признать и то, что, обращаясь к художественному произведению (тем более к классике), режиссер имеет дело с системой, ибо произведение существует прежде всего как система, и в соответствии с этой системой заключен лимитирующий момент: переакцентировка, переоценка ценностей, интерпретационные сдвиги, идущие от нашего сегодняшнего восприятия — все это совершается в пределах системы. Что-то уходит в тень, что-то высвечивается, но не основополагающее, доминантное для системы в целом. Так, спектаклю по «Анне Карениной» в театре им. Марджанишвили не могла не повредить странность позиции Левина, представленного здесь в «срединном» пространстве между рациональным, козышевским и левинским (воплощенным в Николае Левине) началом.

Несколько слов о сцене самоубийства, очень важной для концепции и спектакля и романа и поэтому особенно нуждающейся в том, чтобы сценическое воплощение было предельно приближено к подлинному замыслу Толстого. Известно, что Толстой все время оставался в кругу тем, отражающих его внутреннюю биографию, и даже в той последовательности, в какой, если



можно так сказать, была занята ими его душа. Многие его последние произведения разрабатывают тему ухода—смерти или разрыва со всем обычным. Так поступает Корней Васильев, старец Федор Кузьмич. В «Живом трупе», в «Отце Сергии» эта же самая тема. Она волновала его, потому что была внутренне автобиографичной. Он сам задумал тяжелейший внутренний эксперимент и долго перед тем, как обратиться к поступку, вынашивал замысел, предвидел его. Трагическая тема с особенной силой звучала в это время в мировоззрении писателя. В судьбе женщины, которая сполна, собственной жизнью заплатила за свое короткое, «непростительное» счастье, для которой попытка выбора своей судьбы оказалась равной гибели, эта тема получила наиболее полное воплощение. Я веду к тому, что тональность финальной сцены в спектакле озвучена в полном несогласии с Толстым. По спектаклю Анна уходит из жизни, проклиная и ненавидя. «Ненавижу», — кричит Анна — Софико Чиарели, и, хотя актриса, как всегда, выразительна и органична, как-то сомнительна эта проклинающая и ненавидящая, едва ли не демоническая Анна. Чтобы легче было сравнить, приведу целиком описание последних минут Анны и ее гибели, как оно дано на страницах романа Толстого: «...вдруг, вспомнив о раздавленном человеке в день ее первой встречи с Вронским, она поняла, что ей надо делать. Быстрым, легким шагом спустившись по ступенькам, которые шли от водокачки к рельсам, она остановилась подле вплоть мимо ее проходящего поезда.... она хотела упасть под поравнявшийся с ней серединою первый вагон. Но красный мешочек, который она стала снимать с руки, задержал ее, и было уже поздно: середина миновала ее. Надо было ждать следующего вагона. Чувство, подобное тому, которое она испытывала, когда, купаясь, готовилась войти в воду, охватило ее, и она перекрестилась. Привычный жест крестного знамения вызвал в душе ее целый ряд девичьих и детских воспоминаний, и вдруг мрак, покрывавший для нее все, разорвался, и жизнь предстала ей на мгновение со всеми ее светлыми прошедшими радостями. Но она не спускала глаз с колес подходящего второго вагона. И ровно в ту минуту, как середина между колесами поравнялась с нею, она откинула красный мешочек и, вжав в плечи голову, упала под вагон на руки и легким движением, как бы готовясь тотчас же встать, опустилась на колена. И в то же мгновение она ужаснулась тому, что делала. «Где я? Что я делаю? Зачем?» Она хотела подняться, откинуться, но что-то огромное, неумолимое толкнуло ее в голову и потащило за спину. «Господи, прости мне все!» — проговорила она, чувствуя невозможность борьбы. Му-

жичок, приговаривая что-то, работал над железом. И свеча, при которой она читала исполненную тревог, обманов, горя и зла книгу, вспыхнула более ярким, чем когда-нибудь, светом, осветила ей все то, что прежде было во мраке, затрещала, стала меркнуть и навсегда потухла». Толстой здесь предельно серьезен, откровенно лиричен. Он вдруг заговорил словами простыми, нежными, горестными. Лирический настрой создает тихая музыка «девичьих и детских воспоминаний», интонация мольбы о прощении («Господи, прости мне все!» — проговорила она, чувствуя невозможность борьбы»), образ трепетно, как свеча, догорающей жизни («Отчего же не потушить свечу, когда смотреть больше не на что...»). И если художественная форма сама по себе является выражением мысли, то все это, вместе взятое, внятно говорит об осознанной вине и о полной невинности, об осуждении и о безоговорочном отказе от осуждения, о сложном отношении автора к прекрасному существу, не сумевшему соединить свободу выбора с верностью нравственному долгу и обреченно принявшему кару за это. Я бы сказала даже, что в сцене самоубийства Анны — эмоциональный ключ к пониманию всего романа. Здесь ищет музыку своего выражения многозначная, глубоко диалектическая толстовская мысль. (Справедливо говорят, что только диалектическое мышление и способно быть подлинно трагическим мышлением).

Как сохранить свободу выбора с верностью нравственному долгу? Эта мысль романа глубоко современна, хотелось бы, чтобы именно ее форсировал спектакль.

В связи с этим я хочу вспомнить классический случай сценического воплощения толстовского произведения, когда максимально проявленная режиссерская активность оказалась направленной в сторону выявления главной его художественной мысли, главного его пафоса. Спектакль, поставленный Г. А. Тоа-стоноговым в Большом драматическом театре им. Горького по толстовскому «Холстомеру», как раз не высвечивает граней, не форсирует мотивов, — «просто» проникает в глубины толстовского текста. И при этом трудно представить себе более современный спектакль. Литература живет дальними ассоциациями, неожиданными соотношениями. Читателю часто важно не слово, а то, что стоит за ним, вторые и третьи пласты, подтекстовые глубины. Зрителю, в конечном итоге, важен тоже результат. Если коротко сформулировать его, получится следующее: два часа вы напряженно следите за историей пегого мерина, определенной и конкретизированной в исполнении Е. Лебедева, и сами не замечаете, в какой момент эта история странно и гру-



стно начинает восприниматься вами в совсем иных, не «лошадиных» измерениях, как грандиозное иносказание, как история человеческой судьбы. И вот уже вы живете заодно с этой лошастью (или с этим человеком?) и на себя обращаете ситуацию ее (его?) жизни, ее короткое счастье и ее несчастье. Условная форма «театра представления» тут оказывается органично подшедшей: какие-то холщовые лохмотья, скупые взмахи рук, копыт, неуловимые движения головой, скорее даже обозначения, чем движения, и возникает образ, щемящий душу, образ трудно, терпеливо, горестно, честно прожитой жизни.

В своем интервью корреспонденту Грузинформа («Вечерний Тбилиси», 28 января 1984 года) Р. Чхиквишвили, исполнитель роли Печорина в спектакле «Княжна Мери», поставленном на сцене театра Марджанишвили режиссером Т. Чхеидзе, определил замысел спектакля как раскрытие проблемы «человек и общество». «Вместе с тем, — говорит актер, — мы сошлись во мнении, что общеизвестное представление о характере Печорина несколько сужено. В человеческом восприятии есть черта: закрывать глаза на недостатки людей, которые нам симпатичны. Печорин, думаю, — один из таких образов мировой литературы».

В отличие от «общеизвестного представления о характере Печорина», спектакль, — продолжает Р. Чхиквишвили, — ставит своей целью «укрупненно показать социальное зло, которое несут обществу такие личности». Такая установка театра в общем понятна: постановщик спектакля Темур Чхеидзе, режиссер с очень выраженной нравственной ориентацией, на этот раз предпринял интересную попытку включить понятие «лишнего человека», традиционное для русской классической литературы, в нравственную орбиту современности, и в чутком молодом актере, которому доверил роль Печорина, нашел единомышленника.

Итак, проблема «человек и общество» раскрывается в спектакле в сторону укрупненного показа «того зла, которое несут обществу такие личности». Как взаимодействует эта установка с лермонтовским замыслом? Известно, что, выражая определенный момент в становлении русского общества (период последекабрьской реакции), лермонтовский роман давал множество оснований считать Печорина жертвой общества, и этот аспект проблемы нес немаловажный смысл. Со времен Белинского «общеизвестное представление» не оставляет незамеченными недостатки, более того, «пороки» (как их квалифицирует сам автор в предисловии к роману) Печорина. Эпитет «симпатичный» ему как-то не идет. Но и такой, строго осужденный, вобравший в себя многие болезни своего времени, он оставался неразвенчанным геро-

ем, и были веские причины на то. Исследуя почти все виды социального зла, классическая русская литература уделила особое внимание одному из них — анализу давлений общества, в котором активно действует энергия разобщения, на личность, и совершающемуся в результате этих давлений разрыву между внутренними ресурсами, потенциальными возможностями человека и их реализацией. (Горестное признание: «А, верно... было мне назначение высокое... я чувствую в душе моей силы необъятные... Но я не угадал этого назначения, я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных...»). Герой Лермонтова трагичен в полном смысле этого слова, и трагизм этот, если рассматривать его в культурно-историческом аспекте, отражает катастрофическое мироощущение, известное под названием «мировой скорби», а в аспекте общественно-историческом — судьбу неординарной личности, испытывающей безжалостную подверженность силам разобщения, несвободной в выборе собственного пути, а потому выбравшей другие, уродливые, болезненные формы самопроявления — эпатаж и вызов (в отличие, скажем, от сдержанного Онегина, предпочитающего позицию неучастия). Я о том, что известный гипноз печоринского обаяния, который Р. Чхиквишвили выводит из странностей, парадоксов читательского восприятия, на самом деле есть следствие авторского замысла: его излучает тот нерасторжимый сплав, называемый образом, характером, в котором недостатки не существуют автономно от всего остального. Беспощадно разоблачительный по отношению к герою роман дает самые веские основания для сожалений о впуску растрачиваемых «силах необъятных» и даже, как уже было сказано, для того, чтобы считать Печорина неразвенчанным и единодержавным героем времени. Для Лермонтова это — трагедийный образ современника. Этический итог романа связывался со страдальческой непримиренностью героя.

В спектакле Темура Чхеидзе этические полюса по сравнению с романом ощутимо сдвинуты. Не заостряя внимания на том комплексе психологических состояний и социальных идей, которые связаны с Печориным как с героем безвременья, режиссер увидел его как бы в другом измерении, в контексте сегодняшнего дня. В его «сверхзадаче», последовательно решаемой средствами драматургии, очень условной по построению, главенствует выявление опасной сути «сильной личности», поставившей себя по ту сторону общепринятых в обществе норм, и, соответственно, гипертрофия, укрупнение и художественная компрометация суперменства, вседозволенности, явлений, которые действительно следует квалифицировать как социальное зло.



Имел ли право спектакль на одобную модификацию? Лично для меня несомненно, что да, имел. Художественные идеи и образы движутся во времени и наполняются новой жизнью. Явление, с такой интенсивностью отразившее существенные приемы своего времени, как лермонтовский роман, за его пределами не равно самому себе. Нелишне в связи с этим вспомнить, что уже в прошлом веке, трансформируясь, мельчая в общественно-литературной перспективе (в произведениях Огарева, Писемского, Соллогуба, Тургенева и т. д.), печоринский тип личности в итоге оказался скомпромегированным как герой, и едва ли не решающей в этом вопросе должна представляться позиция Ф. М. Достоевского, последовательнее всего заявленная, на мой взгляд, в раскрытии характера главного героя романа «Бесы» Ставрогина. Наделенный пронзительно острым чувством движущейся истории, Достоевский с тревогой присматривался к тому, в чем его «предостерегающий» реализм сразу усмотрел смертельную угрозу: к неуловимой относительности добра и зла, к вседозволенности как следствию зыбкости ориентиров, к своеволию сильной личности, к утере способности сострадать. Обращаясь к этой литературоведческой параллели, я хотела еще раз подтвердить мысль о правомерности выделения в литературном типе тех граней, в которых, утверждая или отрицая их, «заинтересовано» современное прочтение. Однако есть и другое обстоятельство: Леонин Соллогуба, тургеневский Лучков, Тамарин Авдеева и т. д., — это другие герои других романов, связанные с лермонтовским героем лишь тем, что отразили в сниженном варианте определенные черты печоринского типа. Но когда читатель лермонтовского романа приходит в театр и теперь уже на положении зрителя вглядывается в знакомых героев и знакомые ситуации, он сравнивает. От этого не уйти. Произведение классики, инсценированное или экранизированное, как бы вторично предстает перед зрителем, недавним читателем. Он оценивает новый вариант решения, но в памяти его прочно залег прежний вариант. Спектакль рождает новый круг ассоциаций, но они приходят в соприкосновение с ассоциациями, уже живущими в сознании. Литература расширяет возможности зрительского восприятия, и это должно учитываться как реально существующий феномен. В конце концов оба — режиссер и зритель — люди сегодняшнего дня, прочтение классического произведения режиссером обусловлено (заранее обусловлено) возможным зрительским восприятием. Режиссер как бы полномочный представитель зрительской аудитории, Г. А. Товстоногов тонко это заметил: «Когда я репетирую, то стараюсь увидеть все происходящее в пьесе глазами людей, которые заполняют зритель-

ный зал. Я становлюсь как бы их полномочным представителем. Но только у меня есть владение профессией, позволяющее выразить средствами театра наши общие тревоги, чаяния, надежды» (газ. «Известия» 21 сентября 1983 г.). Ни в коей мере не беря на себя смелость что-то подсказывать мастеру, судить о том, как этого достичь, я все-таки позволю себе поговорить о том, что хотела бы видеть в сценической версии лермонтовского романа сохранным. Итак, я целиком согласна с тем, что акцентировка печоринского эгоцентризма в современных условиях приобретает особое значение и, соответственно, в режиссерском замысле естественно главенствует разоблачение порочного потенциала печоринской жизненной позиции. Способ его сценического воплощения в спектакле Т. Чхеидзе — тот отчаянный азарт, та неутомимость и неумолимость, с которой герой играет в свои недобрые игры. Но мне, зрителю, хотелось бы, чтобы режиссер осуществил свой замысел, последовательнее оставаясь в параметрах, заданных лермонтовским романом. Помня о том, что Печорин — персонаж хоть и объективированный, но близкий автору по своему психологическому складу. Считаясь и с тем, что психологическая и эмоциональная сфера романа странно и прихотливо включает в себя и его, Михаила Лермонтова, личную грусть. При внешнем совпадении — интеллигентность, юншеская хрупкость облика — калибр человека, которого актер играет, не кажется мне адекватным калибру лермонтовского героя. Было бы правильнее сохранить (как — я не знаю, это дело профессионалов) масштаб личности, данный Лермонтовым, чтобы тем зримее была неизбежность вырождения его индивидуалистической природы. Сыграть человека не равного своим поступкам, выявить, с каким содроганием его человеческая природа противится взятой им на себя роли «топора в руках судьбы», раскрыть тоску о неугаданном предназначении.

В творчестве Лермонтова «высокому» (хотя и вобравшему пороки своего общества) герою почти всегда сопутствует его антипод, своеобразный двойник, сниженный вариант, личность ординарная. В «Герое...», например, это Грушницкий, для которого поза и рисовка то, что для Печорина — действительная, неутолимая боль. В спектакле эта антитеза, это обдуманное двойничество снято. Не использована, стерта и та соразмерность системы образов, при которой они находятся в сложном сопряжении друг с другом, при которой в Грушницком, Вулице, Вернере отражаются, прямо или искаженно, определенные черты печоринского характера. Если я правильно понимаю, этот отход спектакля от структурной организации романа не стихийен, в нем сказыва-



вается установка: сняв лермонтовский масштаб конфликта героя с эпохой, рассмотреть то, во что превращается нравственное содержание «печоринства» на «среднем уровне». Чтобы подчеркнуть этот «средний уровень» и приблизить героя к сегодняшнему зрителю, режиссер и исполнитель не избегают и того, что вряд ли может дать положительный эффект — искусственного осовременивания. Печорин принадлежит к определенному, как в старину говорили, «высшему» кругу, жесты, манеры его «изобличают привычки порядочного человека». Зритель не может не испытывать недоумения, наблюдая, как актеры, играющие Печорина и Вернера, в знак дружеского понимания хлопают один другого пальцами по ладоням (далеко не изысканная, наоборот, фамильярная, панибратская жестикуляция, обозначающая в определенных нынешних кругах одобрение). Напомню и такой эпизод: Печорин встречается на водах с Верой, своей старой, забытой, как он ни старался себя убедить в обратном, любовью. Воспоминания, упреки, ласки, «жаркий упоительный поцелуй» (прошу прощения за цитацию, чуть позже станет ясно, для чего она понадобилась). Расставшись, он продолжает думать о ней и думает с тревогой: «Вера больна, очень больна, я боюсь, не было бы у ней чахотки...» В спектакле этот эпизод выглядит так: герой наклоняется к героине для поцелуя, тотчас резко отстраняется, произносит, обратившись к зрительному залу, «Вера больна... и т. д.» и осторожно целует ее... в лоб. Такие коррективы, вносимые в классический текст, способны вызвать обратную реакцию, недоверие. Печорин, не смеющий поцеловать женщину, которой увлечен, потому что она больна, осторожничающий, боящийся за себя? Да это же герой «не того романа!» Индивидуализм, эгоцентризм лермонтовского героя, его высокомерное одиночество совершенно лишены прагматического расчета, сопряжены со вкусом к риску и опасности, с готовностью все поставить на карту ради вот этой, данной минуты с ее жгучими ощущениями. Его эксперименты над другими — в равной мере эксперименты над собой, и это, кстати, отнюдь не делает их менее безобидными. Я все о том же, о том, чтобы, не искажая доминанты характера, не рассматривая поступки отдельно от характера в целом, тем не менее вскрыть, как и было задумано (правильно задумано!), их опасную суть.

Мы уже касались выше вопроса о том, что стилистика спектакля в большой мере незримо диктуется литературной первоосновой. Если это так, то в какой мере и как соотносим спектакль «Княжна Мери» с категориями, заданными лермонтовским художественным миром? Лермонтовский роман органично философи-

«ен. Разумеется, речь идет не об облечении в романную форму философских идей (например, популярного в ту пору шеддингизма), но он философичен в том смысле, что обращен к самым основным, общим проблемам бытия и самосознания. Жажда самопознания — отпечаток эпохи на облике целого поколения 30—40-х годов XIX века. Такая направленность декларативно, как боевой лозунг нового стиля, выражена в «Журнале Печорина». «История души человека едва ли не интереснее истории целого народа». Есть все основания говорить и об особой жанровой синтетичности «Героя...», его исповедальном психологизме, включившем в себя и достижения европейского субъективного романа, и, одновременно, о наличии в нем элементов «светской повести», ее острой сюжетности и новеллистической динамики. И все-таки эстетически значимы в романе те компоненты, которые делают его «исповедью души». Уже Белинский отмечал, что части романа «расположены сообразно с внутренней необходимостью как части единого целого». Внутренняя мотивировка такого расположения — раскрытие развитого, но противоречивого сознания — от описания (в «Бэле») к исповеди («Журнал Печорина»). Соответственно меняется и модальность повествования от третьего лица к первому: герой сам рассказывает о себе, исповедь — та форма, в которой он лепит собственный образ. Р. Чхиквишвили увлеченно играет отстранение, отчуждение героя от самого себя и в слишком ограниченных пределах — самоуглубление, самоанализ. Его так мало, что невольно возникает вопрос: не находится ли сама установка «театра представления», сами средства эпического театра в несогласии с героем, в котором так сильно аналитическое, тем более интроспективное начало? «Княжна Мери», выбранная для постановки, — документ поразительной психологической интроспекции. Презрение к суду других, беспощадность собственного суда — своеобразные полюса этой исповедальности. Но тем более необходима психологическая углубленность анализа противоречия между «глубокостью натуры» и «жалкостью действия» и отношения к этому противоречивому состоянию самого героя. (Есть, правда, знаки, через которые это отношение все-таки обозначено, например, слезы на глазах актера в одной из сцен). Тогда и в иронии, большая доза которой присутствует в спектакле, прозвучала бы еще и самирония с печальной строгостью и безжалостностью самооценки, всегда таящейся в ее глубине. Одновременно необходимо подчеркнуть прекрасный смысл вставки новеллы «Фаталист». Она не чужеродна в спектакле по «Княжне Мери». Ее присутствие в романе подчеркивает мотив предопределенности, рока, а в спектакле — безвыходность, фатальную



гредрешенность печоринской индивидуалистической позиции. Если в спектакле динамично, темпераментно (хотя, как уже было сказано, с ущербом для аналитического начала) играется <sup>внешний</sup> сюжет лермонтовской повести, то тут ясно прослеживается «сюжет судьбы».

Лермонтов пишет не полную биографию своего героя, но раскрывает уже сложившийся характер в вершинных его проявлениях. Однако время, которое имеет отношение к роману, протянуто. В спектакле же не существует реально того времени, которое не стало предметом описания в романе, оно выключено. Однако, если бы включить в спектакль это отсутствующее время, которое память героя хранит драгоценно и трудно («я глупо создан, ничего не забываю, ничего...»), то усилились бы ощущение идеала, закрытого для героя, и его потребность высокого смысла жизни, недоступного для него. Это усилило бы и сознание пустоты, коренной «неправильности» его существования. Словом, соглашаясь с установкой на компрометацию героя, которую предлагает спектакль, я не очень охотно приемлю избранную театром его модификацию. Для меня эта компрометация была бы убедительнее, если бы она осуществлялась через углубленное раскрытие противоречий между возможностями личности и ничтожной реализацией этих возможностей, через ракурс темы неугаданного предназначения и внутреннего возмездия, через мотив «измены себе самому», оплаченной страшною ценою самоказни. В центре своего романа Лермонтов поставил героя, способного строго себя осудить, героя, который мог бы взять на себя большую долю в раскрытии концепции спектакля.

Классика — хранительница вечных ценностей в меняющемся мире. Но вечное заключает в себе и вечную загадку, которую каждый раз приходится разгадывать заново. Дело интерпретации — проникать в эту загадку, высвечивая в произведении наиболее близкие эпохе уровни, акцентируя те грани произведения, в которых здесь и сейчас выявляется его художественная концепция.



**В** ГОД десятилетия со дня смерти В. Я. Брюсова Константин Чичинадзе вспомнил о своем стихотворении, которое он написал еще в 1924 году и посвятил его памяти выдающегося русского поэта. Стихотворение было написано на грузинском языке и долгие годы оставалось неопубликованным.

В 1934 году, когда в Тбилиси была задумана «Антология грузинских поэтов», К. Чичинадзе решил предложить свое стихотворение этому изданию в русском переводе. Одновременно, при содействии Союза писателей Грузии, он отослал его в газету «Известия». Письмо в редакцию «Известий» подписывал секретарь ССП Грузии Бесо Жгенти: «В редакцию «Известий» ЦИК СССР. ССП Грузии присылает Вам с просьбой напечатать в соответствующем номере «Известий» стихотворение поэта К. Чичинадзе, написанное в 1924 году по поводу смерти Валерия Брюсова и переведенное на русский язык для предполагаемой Антологии грузинских поэтов»<sup>1</sup>. Сейчас трудно объяснить, почему оно там не было опубликовано, но если исходить из текста стихотворения «На смерть Валерия Брюсова», можно предположить, что его содержание могло не удовлетворить газету развитием темы смерти, выдержанной в духе философ-

## НЕИЗВЕСТНОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ КОНСТАНТИНА ЧИЧИНАДЗЕ

<sup>1</sup> ИМЛ, ф. 13, опись 2. № 40, Чичинадзе Константин, стихотворение. Перевод с грузинского П. Петренко, 1924. Машинопись, 1 л. Приложение: Письмо ССП Грузии в редакцию «Известий». 1934. IX 16. 1 л.



ских раздумий, характерных для поэзии русского символизма.

Конечно, стихотворение К. Чичинадзе не результат его увлечения символизмом, а всего лишь эпизодическая попытка создать произведение «под Брюсова» средствами его дореволюционной поэзии.

Заметен вклад, который внес К. Чичинадзе в разви-

тие русско-грузинских литературных связей. Свидетельством тому являются его переводы на грузинский язык «Слова о полку Игореве», поэм Пушкина, стихотворений Тютчева, Некрасова и других. В этом же ряду мы рассматриваем интерес К. Чичинадзе и к замечательному мастеру культуры — В. Брюсову.

\* \* \*

## Константин ЧИЧИНАДЗЕ

### НА СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ БРЮСОВА

Вот бледного коня к тебе  
уж привели  
(Путь восполненья вел  
к фатальному зиянью),  
В последний раз огни  
бриллиантов мирозданья  
Твои глаза блистаньем  
обожгли.

Смерть холод принесла.  
Всему конец единый.  
Ассаргадон, и Тигр,  
и Мидия в тени,—

В потухших зеркалах души  
прошли они,  
Как вечности поблекшие  
личины.  
Дала тебе поэзия испить  
свой кубок злой  
До дна, и навсегда уснул  
твой мозг усталый,  
И вот как стог, во сне  
вознесшийся, подъяла  
Ночь всей земли свой  
конус над тобой.

Перевод П. ПЕТРЕНКО

Публикация  
Бориса СИВОВОЛОВА



Людмила РОССОХА

# К ИСТОРИИ ГРУЗИНСКОЙ КОЛОНИИ НА УКРАИНЕ

●  
 ВТОРАЯ ПОЛОВИНА  
 XVIII ВЕКА—XIX ВЕК  
 ●

## ЭРИСТАВИ

(Эристовы, Еристовы, Ересовы, Эриставовы)

На Украине в середине XVIII века поселились несколько княжеских семей Эристави.

**Давид Георгиевич Эристов (Эриставов)** с 1734 года находился в свите Вахтанга VI. Он служил адъютантом в Грузинском гусарском полку, близко знал поэта Давида Гурамишвили. Хозяйство Эристова было расположено в местечке Старые Санжары, где он владел тридцатью дворами крестьян. Там же, в Старых Санжарах, обосновался также его брат **Отар Георгиевич Эристави** (иначе — Иотар Егорович Эристов) — член эмигрантской группы Вахтанга Багратиони. К своим тридцати дворам он присоединил пять дворов, определенных в Старых Санжарах его малолетнему сыну Алексею.

Представители третьего поколения этой семьи постоянным местом жительства избрали Петербург. Сын Алексея Отаровича и внук Отара Георгиевича — **Дмитрий Алексеевич Эристов** (1797 — 1858) получил известность как ученый, литератор пушкинской эпохи и пушкинского круга. Дмитрий



Эристов был ровесником и товарищем А. С. Пушкина по Царскосельскому лицей. Был близок к декабристам. К числу его знакомых и друзей принадлежали В. Одоевский, В. Кюхельбекер, А. Дельвиг, И. Пущин. В 30—40-х годах Д. А. Эристов был одним из составителей многотомного «Энциклопедического лексикона» Плюшара (им написаны статьи по истории, а также искусству России и Грузии). Созданный Эристовым «Словарь о святых, прославленных в Российской церкви, и о некоторых подвижниках благочестия, местночтимых», изданный в Петербурге в 1836 году, высоко оценил Пушкин.

На территории Лубенского полка, в м. Ромны, владела 30 крестьянскими дворами княгиня Елена Эристова. Как можно предположить, она была вдовой погибшего офицера (возможно, Николая Эристова). Неподалеку, в селе Риги<sup>51</sup> получили по 5 дворов малолетние князья Иван и Стефан Эристовы, сыновья Елены. Им же принадлежали 10 дворов в местечке Сребное.

Еще один грузинский князь, офицер Иотам Эристов (род. в 1707 году) был пожалован имением в 30 дворов на территории Полтавского полка в м. Келеберде. Его малолетний сын Семен (род. около 1735 года) получил 5 дворов в Великих Будицах. В конце XIX века потомки этой семьи еще жили в Великих Будицах, но их фамилия уже превратилась в Ересовых.

По переписи 1910 года на Полтавщине зафиксировано два населенных пункта с названием Эристовка: одна деревня расположена была на территории Кобелякского уезда, другая — Кременчугского уезда, недалеко от Келеберды<sup>52</sup>.

Одна из княжон Эристовых (род. в начале XIX века) была выдана замуж за Попова Павла Васильевича, сына богатого полтавского помещика В. С. Попова — любимца Г. А. Потемкина, владельца имения в м. Решетилровке. П. В. Попов и княжна Эристова получили в наследство от В. С. Попова имение в Таврической губернии, где и жили. Имели дочь Анну (род. в 1825 году) и сына Василия<sup>53</sup>.

<sup>51</sup> В некоторых исследовательских работах ошибочно — Ризы.

<sup>52</sup> Список населенных мест Полтавской губернии, Полтава, 1913, с. 36, 45.

<sup>53</sup> Павловский И. Ф., Родословная рода Поповых. — Труды Полтавской ученой архивной комиссии, вып. 7, Полтава, 1910, с. 157.

Эристави вступали в брачные союзы и с представителями других украинских семей: с Кулябками, Маламами.

Некоторые члены семей Эристовых, живших на Украине в конце XVIII — первой половине XIX в. переезжали в Петербург. Они поддерживали связи с другими семьями, знатного и влиятельного<sup>54</sup> рода Эристави, жившими в Петербурге и в Москве, а также в Грузии; живо интересовались событиями, происходившими на их родине после присоединения Грузии к России. Среди участников заговора 1832 года, вызванного недовольством грузинской эмиграции политикой царизма в Закавказье, были многие Эристави: Георгий, Дмитрий, Элизбар и другие. Не исключено, что среди них были и выходцы из семей «полтавских» Эристовых.

Некоторые Эристовы (Эристави) после учебы в столице или службы в армии возвращались на Украину, принимали активное участие в общественной жизни Полтавщины. Так, например, Эристов Михаил Андреевич (1858 — 1904) обучался в императорском Александровском лицее. В службу вступил 8 ноября 1876 года. Более 12 лет, с сентября 1891 года по апрель 1904 года, был предводителем дворянства Полтавского уезда; с января по октябрь 1892 года исполнял должность губернского предводителя дворянства. Был действительным членом Полтавского местного управления Общества сельского хозяйства. С июня 1890 года до самой смерти (в апреле 1904 года) был почетным мировым судьей<sup>55</sup>. В начале XX века Полтавское начальное училище в Павленках носило имя М. А. Эристова.

Однако М. Эристов, представитель господствующего класса, как и другие люди его круга, конечно, был далек от тех нужд, которые остро испытывали простые труженики Полтавщины. Такое невнимание к народным запросам вызывало резкую критику со стороны прогрессивно мыслящей, демократически настроенной части украинской интеллигенции. Писатель Панас Мирный в сатирическом рождественском стихотворении «Разговор двух кумовей о земских делах»

<sup>54</sup> Эристави состояли в родстве с Багратионами, возглавляли грузинский экзархат и пр.

<sup>55</sup> Павловский И. Ф., К истории Полтавского дворянства. Вып. I, Полтава, 1906, Приложения.



едко высмеял полтавское губернское земское собрание 1896 года, которое отклонило предложение об освобождении от телесных наказаний выпускников начальных народных училищ из крестьян. В числе прочих полтавских «панов» досталось и М. Эристову.

## ЦИЦИШВИЛИ

(Цициевы, Цициановы, Цициановы)

В свите Вахтанга VI в России в 30-х годах находился **Цициев Папуна**, «обер-казначей, князь, с княгиней, с сыном и с дочерью» и со множеством находящихся в их услужении дворян и служителей. В 1738 году, когда он был записан в «Реестре грузинским князьям и дворянам, которые вступают в службу ее императорского величества», ему исполнилось 40 лет.

Дочь Папуны — **Мария Папуновна Цицианова** — в начале 40-х годов получила землю и крестьян в м. Ромны Лубенского полка. Здесь же жил и князь **Дмитрий Цицианов**. На территории Полтавского полка, в м. Келеберде, владел 30 дворами князь **Адам Цициев**. При дворе Вахтанга он был «главнейший над теми, которые ковры постилают», в 40-х—50-х годах служил в русской армии.

**Давид Гурамишвили**, повествуя в поэме «Беды Грузии» о тех злоключениях, которые выпали на долю грузинских эмигрантов, о распрях и завистничестве в среде придворных, жестоко отразившихся на судьбе грузинских поселенцев, упоминает о Цицишвили:

...злая зависть....

И Адама Цицишвили

Обрекла на норугань<sup>56</sup>

Одна из ветвей рода Цицишвили, также имеющая отношение к Украине, своими корнями восходит к **Цицишвили** (Цициеву) **Яссе** (Иасе, Евсею, Иесею), князю, эмигрировавшему в Россию в свите Вахтанга. Иасе родился в Грузии около 1700 года. В 50-х годах служил капитаном Грузинского гусарского полка. Хорошо знал поэта **Давида Гурамишвили**: в

<sup>56</sup> Давид Гурамишвили. Стихотворения и поэмы. Л., «Советский писатель», 1980, с. 141.

1747 году он подписался под аттестатом на присвоение Гурамшвили звания прапорщика. Иасе Цициев получил крестьянские дворы вблизи Полтавы, в м. Старые Санжары (теперь — с. Решетки). Из его детей известны сын Дмитрий и дочь Екатерина.

**Екатерина Евсеевна** вышла замуж за Лорера Ивана Ивановича, дворянина из Херсонской губернии. Супруги жили в сельце Водяном, имели большую семью: сыновей Александра, Николая, Дмитрия и дочерей Веру и Надежду. **Николай Иванович Лорер** (1795 — 1873) — известный декабрист, член Южного общества, писал в своих воспоминаниях: «Мать моя была грузинка, княжна Цицианова; она принадлежала к одной из первых фамилий в Грузии, близко соединенной по родству с бывшими царями Грузии»<sup>57</sup>. Кстати, следует заметить, что Н. Лорер дружил с грузинскими потомками на Украине Херхеулидзевыми.

Сын Иасе Цицишвили — **Дмитрий Евсеевич Цицианов** (1775 — 1835) — получил прекрасное образование в Москве, жил в Петербурге. В столичных литературных кругах он слыл острословом, балагуром, блистательным рассказчиком; о нем упоминает А. С. Пушкин.

Н. И. Лорер вспоминал: «Приехав в Москву, я остановился у своего дяди по матери, князя Д. Е. Цицианова. Он был известен в то время своей роскошью и в особенности обедами, за которыми угощал тогдашних знаменитостей большого света, и кончил впоследствии тем, что проел свои 6 тысяч душ»<sup>58</sup>.

Из более дальних потомков Цициановых получила известность **Александра Осиповна Россет-Смирнова** — внучка Екатерины Евсеевны Цициановой, племянница Н. И. Лорера. Она принадлежала к литературным кругам Петербурга; в ее доме часто бывали Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Жуковский, Одоевский, Вяземский и другие, посвящали ей свои стихи. Она была дружна с Гоголем, состояла с ним в переписке и, пользуясь своим положением фрейлины, оказывала ему покровительство и помощь.

<sup>57</sup> Записки декабриста Н. И. Лорера, М., Госоцэкгиз, 1931, с. 357.

<sup>58</sup> Записки декабриста Н. И. Лорера, с. 47.





Княжеский род Херхеулидзе известен в России еще со времен эмиграции царя Арчила. Один из членов этой семьи, **Зураб Херхеулидзе**, был использован Вахтангом VI в качестве курьера между ним и Петром I во время Персидского похода.

В числе придворных царя Вахтанга в 1737 году записаны два князя Херхеулидзе с одинаковыми именами. Первый, **Херхеулидзе Заал** — «князь, с княгинею, с служителем и служительницею» — в свите царевича Свимона. Второй, тоже Херхеулидзе Заал — «князь, при нем служителей двое», живший в Москве с 1728 года, — в свите царевича Вахушти. Один из них, по-видимому первый Заал Херхеулидзе<sup>59</sup>, получил имение в Миргородском полку: 20 дворов в Миргороде и 10 дворов в Ярьсках. Малолетний сын Заала, Семен, получил 5 дворов в м. Багачке, также Миргородского полка.

**Симон Заалович Херхеулидзе** (по русским документам Семен Захарович Херхеулидзе) родился в 1737 году. С 1752 года пятнадцатилетний юноша уже служил писарем первой роты Грузинского гусарского полка. Вероятно, на Миргородщине семья жила недолго, и постоянным местом жительства С. З. Херхеулидзева стал Петербург. Семен Захарович участвовал в русско-турецких войнах 1768—1774 и 1787—1791 годов. Он был близко знаком с семьей А. С. Пушкина. К пушкинскому окружению принадлежали и его дети: сын Захар Семенович, а также дочери **Темира**, **Клеопатра** и **Александра**<sup>60</sup>.

Внук Заала — **Захар Семенович Херхеулидзе** — был близким другом декабриста Н. И. Лорера, рассказавшего в своих воспоминаниях об их связях, которые возникли еще в юности, в селе Трубайцах на Полтавщине, в имении П. В. Капниста<sup>61</sup>, у которого жил и воспитывался Ло-

<sup>59</sup> Впоследствии его имя и фамилия были искажены настолько, что в них едва угадывалось первоначальное звучание. Например, в документах XVIII века из архива Малороссийской коллегии, а затем у М. Плохинского читаем: Хахарулидзе, Захархаулидзе, Залахархадлидзе.

<sup>60</sup> См.: Горгидзе М. Ф., Грузины в Петербурге. Страницы летописи культурных связей. Тбилиси, «Мерани», 1976, с. 144—145.

<sup>61</sup> Брата писателя В. В. Капниста.

пер. «Князь Захар Семенович Херхеулидзе из грузин, родился в России. Мать его, не знаю, по какому делу, приехала в Малороссию; П. В. Капнист принял ее в свой дом в то время, когда и я там воспитывался. Захару Семеновичу было 11 лет, когда мы с ним познакомились и два года провели вместе. Через несколько лет судьба опять нас свела, уже молодыми людьми. Князь служил в Преображенском полку штабс-капитаном и казначеем полка, я — в Московском»<sup>62</sup>. Это короткое сообщение Н. Лорера дает возможность сделать некоторые выводы. Видимо, семьи Херхеулидзевых и Капнистов были дружны с давних пор, иначе мать не оставила бы 11-летнего Захара на два года в семье П. В. Капниста. К тому же они были соседями: расстояние между Трубайцами, где обитали Капнисты, и местечком Великая Багачка (имением Херхеулидзевых) немногим превышало 20 верст. Вероятно, дело, по которому мать Захара Херхеулидзе приезжала из Петербурга на Полтавщину, касалось их именины или каких-либо других хозяйственных дел.

З. С. Херхеулидзе и Н. И. Лорер оставались нежными друзьями и после ссылки декабриста. Захар Семенович тогда находился в должности градоначальника Керчи. Николай Иванович часто гостил у Херхеулидзевых; подолгу, случалось, на всю зиму, оставался у радушных хозяев, постоянно ощущая их любовь, понимание и поддержку. З. С. Херхеулидзе умер в Севастополе, где и похоронен.

К грузинской колонии на Украине относится и семья **Гангебловых (Гангеблидзе)**. Ее родоначальники — воины Грузинского гусарского полка Шиош и Георгий Гангебловы, по происхождению грузинские дворяне. **Шиош Гангеблов** (род. в 1705 году) служил в России с 1724 года, в 1753 году был полковым обозным Грузинского гусарского полка. **Гангеблов Георгий (Егор) Христофорович** (род. в 1718 году) эмигрировал из Грузии в 1734 году. В 1739 году вступил в гусары, в 1753 году был квартирмейстером. Оба получили небольшие участки земли и по 10 дворов на Полтавщине: Георгий — в местечке Остапье Миргородского полка, а Шиош

---

<sup>62</sup> Записки декабриста Н. И. Лорера, с. 221.



Гангеблов<sup>63</sup> — 6 дворов в Новых Санжарах и 4 двора в Старых Санжарах Полтавского полка.

Профессиональный военный, Георгий Христофорович Гангеблов почти все время находился на службе. Он принимал участие в войнах со Швецией, в Семилетней войне (1756—1763) и русско-турецкой войне 1768—1774 гг., во время которой погиб в 1772 году, находясь в звании майора.

Семья Гангебловых жила в Остапье лишь временами, а большей частью в Москве и в Петербурге. Сын Георгия Христофоровича **Семен Георгиевич Гангеблов** (1751—1827) родился в Москве. Материальное положение семьи всегда было весьма скромным. Семен Георгиевич, в 1770 году 19-летним юношей отправляясь в Петербург для определения на службу, в первый и последний раз получил от матери 25 рублей и в дальнейшем устраивал свою судьбу без чьей-либо помощи, навсегда сохранив умеренность в образе жизни, бережливость и нетерпимость к бездеятельности.

Вскоре после смерти Георгия Христофоровича его вдова, терпевшая притеснения и корыстные притязания со стороны богатых соседей, украинских помещиков Базилевских<sup>64</sup>, оставшись без поддержки, почти за бесценок (за 600 рублей) продала свое имение (40 дворов с землей, усадьбой и угодьями) и переехала в Петербург, к сыну Семену, где и умерла в 1814 году.

Семен Георгиевич, как и его отец, был офицером, служил под командованием Суворова, которого считал «примером совершенства для всех состояний», будь то солдат, знатный вельможа, дипломат или отец семейства. Генерал С. Г. Гангеблов принимал участие во всех войнах, которые вела Россия с 1788 по 1813 год, участвовал в Бородинском сражении. Человек беззаветной храбрости, Георгиевский кавалер, «погибнуть от пушечного ядра он почитал лучшим родом смерти»<sup>65</sup>.

<sup>63</sup> В документах Малороссийской коллегии и у М. Плохинского — вследствие неправильного прочтения фамилии и контаминации — Шкошуган Геблов.

<sup>64</sup> Базилевские получили печальную известность на всю Украину своей необузданной жестокостью и своеволием; в конце XVIII века в их имении (с. Турбаи) вспыхнуло одно из самых больших в истории Украины вооруженных крестьянских восстаний.

<sup>65</sup> Воспоминания декабриста А. С. Гангеблова, М., 1888, с. 241.

Уд. № 11033

После тяжелых ранений в бою против французов под Бауценом в 1813 году он покинул службу, поселился в Богодаровке Верхнеднепровского уезда Екатеринославской губернии<sup>66</sup> — имени своей жены. Боевые раны, жестоко мучившие его на протяжении 15 лет, привели к смертельному исходу: он умер в феврале 1827 года от раскрытия ран. Похоронен в ограде церкви святой Троицы в Богодаровке.

С. Г. Гангеблов был женат на Екатерине Спиридоновне Манвеловой<sup>67</sup>, грузинке по происхождению. Они имели трех сыновей. Один из них, **Александр Семенович Гангеблов**, был участником движения декабристов. Он родился в Петербурге; благодаря заслугам отца-генерала получил возможность воспитываться в Пажеском корпусе, служил во дворце камер-пажем при императрице Марии Феодоровне, затем был назначен в Измайловский полк, воевал. За принадлежность к Северному тайному обществу А. С. Гангеблов был заточен в Петропавловскую крепость, затем сослан на Кавказ, где отбывал военную службу. В Тифлисе, где он служил некоторое время, у него часто собирались сосланные декабристы. После окончания ссылки, в 1832 году, вернулся на Украину, в Богодаровку, где и дожил до 90 лет.

Во внешности А. С. Гангеблова стойко сохранялся грузинский тип; он был похож на отца: знавшие генерала Гангеблова легко узнавали и его сына. В семье Гангебловых прочно хранили семейные воспоминания о предках, грузинские предания. Но грузинский язык уже не был их родным языком. Как вспоминает декабрист А. С. Гангеблов, последним человеком в их семье, говорившим на грузинском языке, была его бабушка, жена Георгия Христофоровича. Но о своем грузинском происхождении Гангебловы помнили всегда. Александр Семенович, находясь в ссылке на Кавказе, в Тифлисе, часто вспоминал об этом, даже считал свое происхождение фактором, в некоторой степени определяющим его эстетические вкусы.

Уже упоминаемые выше **Манвеловы (Манвелишвили)**, жившие в местечке Белики Полтавского полка, произошли от грузинского (гурийского) князя Николая Вахуштовича

<sup>66</sup> Теперь — Днепропетровской области.  
<sup>67</sup> См. ниже — Манвеловы.



Манвелова<sup>68</sup> (род. в 1703 году), из числа эмигрировавших в Россию в 1724 году, поручика Грузинского гусарского полка. Вместе со своим малолетним сыном Спиридоном он владел в то время 35 крестьянских дворов. Спиридон женился на сербке из рода Чорбы, переселившегося в Россию<sup>69</sup>. Их дочь Екатерина Спиридоновна Манвелова (1773—1853) была замужем за генералом С. Г. Гангебловым.

Знакомство Екатерины Спиридоновны и Семена Георгиевича состоялось еще на Полтавщине, так как имение Гангебловых — Остапье — находилось по соседству, в 40 километрах от местечка Белики, которым владели Манвеловы. Позже Гангебловы жили в доставшемся Екатерине от ее предков с материнской стороны селе Богодаровке на Екатеринославщине.

Сын Спиридона Манвелова, Николай Спиридонович, брат Екатерины, был назван в честь своего деда. Н. С. Манвелов дослужился до звания полковника; известно, что он был членом тайного масонского общества. Женился на дочери князя Данилы Кудашова (Кудашовы жили также в Верхнеднепровском уезде Екатеринославской губернии по соседству с Чорбами). Дочь Николая Манвелова и Кудашовой, Софья Николаевна Манвелова, вышла замуж за офицера Дмитрия Григорьевича Милорадовича (1799 — 1844), представителя одной из самых богатых на Левобережной Украине помещичьих семей. Свекор Софьи Манвеловой — Милорадович Г. П., надворный советник, малороссийский почтовый директор — только в Полтавской и Черниговской губерниях имел 5.486 крепостных. В первой половине XIX века он владел Великими Будищами, где жили многие грузинские семьи. Софья Николаевна с 1832 года жила в Киеве. Умерла она в 1883 году в Белостоке<sup>70</sup>.

Фамилия Манвеловых на Полтавщине сохранилась до XX века. Манвелов Сергей Борисович в 1910 году был уездным гласным Кобелякского уезда.

Семья грузин **Саакадзе** появилась на Украине в качестве землевладельцев в соответствии с императорским указом 1743 года. Князь Алексей Николаевич Саакадзе (1720 —

<sup>68</sup> У М. Плохинского ошибочно — Маниелов.

<sup>69</sup> Воспоминания декабриста А. С. Гангеблова, с. 226.

<sup>70</sup> Модзалевский В. Л., Малороссийский родословник, К., 1912, т. 3, с. 533.

1785) в 1745 году поселился в местечке Монастырище Прилуцкого полка как владелец 30 дворов. Молодые годы посвятил службе в армии, дослужился до звания секунд-майора. Женился А. Н. Саакадзе на украинке — дочери бунтового товарища Дмитрия Марковича<sup>71</sup>, из прилуцкой старшины (возможно, на Ульяне)<sup>72</sup>.

В 1748 году по соседству с А. Н. Саакадзе в м. Ичне поселился его отец Николай Саакадзе с несовершеннолетними сыновьями Егором и Иваном. Они прибыли из Грузии позже Алексея, получив в Ичне 20 дворов.

Алексей был рачительным хозяином, его имение процветало, увеличивалось. В 1780 году он уже владел в Монастырище 50 дворами с 70 крестьянскими хатами: к этому времени к нему отошли также ичнинские владения его отца и братьев. Род Саакадзе на Украине — угасший. Алексей Саакадзе умер бездетным, его братья тоже не оставили потомков. После его смерти имение пришло в упадок: в конце XVIII века княгиня Саакадзева владела всего лишь 12 дворами с 20 хатами<sup>73</sup>.

В Миргородском полку — в местечках Голтве, Устивице и Ярьсках получили земельные наделы и крестьян офицеры князя Сологашвили (Сологовы) — Шермадин и Палуна (Павел). Шермадин до 1782 года продал «подданические» дворы в м. Голтве бывшему голтвянскому сотнику Василию Федоровичу Остроградскому.

О проживании Сологашвили на Украине, конечно же, знали их родственники в Грузии. Именно поэтому грузин Салагов Василий, в середине XVIII века сбжавший из крымского плена, нашел приют у своих земляков на Украине и даже не стал возвращаться на родину. Он поселился в селе Журавке Прилуцкого полка, обзавелся семьей, взяв себе в

<sup>71</sup> Лазаревский А., Описание старой Малороссии, т. 3. Полк Прилуцкий, К., 1902, с. 205.

<sup>72</sup> Через несколько десятилетий представительница семьи Марковичей — Елена Арсеньевна — вступила в брак с грузином Жеваховым С. Е.

<sup>73</sup> Лазаревский А., Описание старой Малороссии, с. 337.



жены дочь имеретинского дворянина Данила Огиянова, также жившего на Прилукине<sup>74</sup>.

Потомки Сологашвили — Салаговы — жили и на территории современной Сумщины. В 1800—1801 гг. по указам императора Павла князь Салагов Семен Иванович был награжден имением в селе Угроеды Ахтырского уезда Слободско-Украинской губернии. В 1815 году он завещал крестьян своей жене Марфе. Известно, что в 1821 году она владела ими.

В г. Хороле Миргородского полка жила грузинская семья **Церетели**. Двоюродные братья Автандил Леванович и Давид Давидович Церетели владели каждый 30 дворами. Внук Автандила — Николай Андреевич Цертелев (1790—1869) был известным фольклористом, первым издателем украинских народных дум. В 1819 году в Петербурге вышел его сборник «Опыт собрания старинных малороссийских песней»<sup>75</sup>.

Представляет интерес также история фамилии **Абашидзе-Горленко**. Среди лиц, получивших землю на Украине в первой половине XVIII века, фамилия Абашидзе не значится. Но связи этой семьи с Украиной бесспорны. Князь Абашидзе Симон Кайхосрович, корнет, в 1861 году сочетался браком с Аделаидой Семеновной Горленко (1843 — 1876)<sup>76</sup>. Она родилась в селе Козляничы Сосницкого уезда Черниговской области и владела имениями, унаследованными после отца и дяди в с. Келеберде, с. Заезд, в Прилуках, в Сосницком уезде — всего несколько тысяч десятин земли. В 1876 году Симону Абашидзе «высочайше разрешено к своей фамилии присоединить фамилию Горленко, с

<sup>74</sup> Шевченко Ф. П., Грузины в Войске Запорожском. — Сб. «Из истории украинно-грузинских связей», Тб., «Мецниереба», 1968, с. 54.

<sup>75</sup> О жизни и деятельности Н. А. Цертелева издано обстоятельное исследование: О. Гвинчидзе, Н. А. Цертелев, Тб., «Мецниереба», 1980. В нем рассмотрена также деятельность предков и потомков Н. А. Цертелева.

<sup>76</sup> Горленко, как мы уже упоминали, были родней грузин Жеваховых, Баратовых, Ратиевых.

тем чтобы фамилия князей Абашидзе-Горленко передавалась старшему в роде»<sup>77</sup>.

В XVIII — первой половине XIX века на Полтавщине получила известность и семья **Асихмовани (Осихмяновы)**. Имена в местечках Глинске и Чернухах<sup>78</sup> Лубенского полка принадлежали князьям Луарсабу и Отаму Осихмяновым, а также сыновьям Отама — Ивану и Егору. Секунд-майор Осихмянов Егор в 1784 году служил в уездном суде города Лохвица, в то время Черниговского наместничества. Княжна Осихмянова Дарья была замужем за украинцем Григорием Григорьевичем Манжосом (род. около 1738 года, служил с 1760 года; в 1786 году — ротмистр при отставке; имел крестьян в с. Николаевке; умер до 1811 года). Последний из известных нам представителей семьи — Асихмованов Александр — в 1809 году продал чернухское и другие имения Лохвицкого уезда лохвицкому помещику С. А. Савицкому.

Деятельность семьи грузинских эмигрантов **Герсевановых** связана большей частью со Слободской Украиной (ныне — Харьковская область и прилегающие к ней районы соседних областей). Предок поселившихся на Харьковщине Герсевановых — Гавриил Исеевич Герсеванишвили (в некоторых документах — Керсиванов) — эмигрировал в Россию в 1724 году, служил священником в Грузинском гусарском полку. Многие из его потомков стали известными деятелями в разных областях науки, техники, военного дела. Особую известность получили: его правнук Герсеванов Николай Борисович (род. в 1809 году), генерал-майор, прославившийся при защите Севастополя в 1854 году; праправнук — Михаил Николаевич Герсеванов (род. в 1830 году), известный ученый, автор более 100 работ по гидротехнике, транспортному строительству, прославленный инженер, деятельность которого неразрывно связана с Южной железной дорогой (один из полустанков этой дороги назван в его честь **Герсевановским**).

---

<sup>77</sup> Модзалевский В. Л., Малороссийский родословник, К., 1907, т. I, с. 324.

<sup>78</sup> Чернухи — родина выдающегося украинского поэта, философа, просветителя XVIII века Г. С. Сковороды.



Представители рода Герсевановых жили на Харьковщине и Екатеринославщине. В 1793 году один из Герсевановых был земским исправником Славянского уезда Екатеринославского наместничества. Герсеванова Анна Родионовна сочеталась браком с Кочубеем Александром Викентьевичем (род. в 1850 году), который после окончания Харьковского университета был на разных ответственных юридических должностях в Курском и Изюмском окружных судах. К своему небольшому имению (26 десятин земли в Змиевском уезде) он присовокупил значительное приданое жены — 1.776 десятин земли в Екатеринославской губернии.

В начале XX века обитали Герсевановы и в Полтаве.

Они были родственниками Михаила Николаевича Герсеванова и тоже имели отношение к Южной железной дороге. Герсиванов Михаил Петрович состоял в должности второго заместителя начальника станции «Полтава» Управления ЮЖД, а Герсиванова Ольга Митрофановна служила там же — в медицинской части Управления ЮЖД и жила в станционном здании станции «Полтава»<sup>79</sup>.

Кафтаровы, Кафтарева, Кафтыревы, даже Гафтарева — таковы варианты живших в России и на Украине представителей грузинской семьи **Кафтарашвили**.

На русской службе, в Грузинском гусарском полку, с 1741 года находился некто Кафтырев Макар (род. в 1717 году), дворянин, награжденный имением в 10 дворов на Украине. Сыновья Макара также служили в армии. Из потомков этой семьи известно имя Агафьи Ивановны (но уже Гафтарева), дочери поручика. Она была замужем за Плешко Федором Феодосьевичем (род. около 1768 года — умер около 1800 года), выходцем из знатного рода казацкой старшины Стародубского полка. Плешко Ф. Ф. был сотенным атаманом этого полка, затем — коллежским протоколистом, в 1796 году вышел в отставку, поселившись в хуторе Коровченки.

В середине XIX века Кафтарева жили в г. Миргороде. Кафтарева Иов Осипович обучался в киевском батальоне военных кантонистов. В крепостнической России в кантонисты

---

<sup>79</sup> Памятная книжка Полтавской губернии на 1910 год. Полтава, 1910, с. 94, 95.

обычно брали солдатских сыновей-сирот, которые от рождения приписывались к военному ведомству, обучались в специальной военной школе в условиях жестокой муштры и бывали продолжительную военную службу. Кафтарев И. О. служил в уездном полицейском управлении Миргородского уезда, с 1855 года имел чин надворного советника, с октября 1861 года был смотрителем Миргородского тюремного замка<sup>80</sup>.

Грузины **Кончиеловы** (**Кончиаловы**, **Канчияловы**, **Кончалевы**) находились и в свите Вахтанга VI в Москве, и в Грузинском гусарском полку. Кончиелов Теймураз (род. в 1721 году) в 1750 году получил звание прапорщика и служил во второй роте Грузинского гусарского полка. Как и другие дворяне, он был пожалован землей и 10 семьями крестьян в Великих Будищах, по соседству с Кончиеловыми Бежаном и Ростомом. Из живших на Полтавщине грузинских дворян в 60-х годах было известно также имя капитана Матфия Канчиелова.

К деятельности Южного общества декабристов был причастен Канчиалов Егор Александрович. Он был сыном гусара Кончиелова Александра (рождения 1734 года). Егор Александрович дослужился до звания полковника Харьковского драгунского полка. Из материалов следствия по делу Н. И. Лорера явствует, что Е. А. Канчиалов и Н. И. Лорер находились в довольно близких отношениях, часто встречались, особенно осенью 1824 года, в период подготовки восстания, вели беседы о государственном строе России: Лорер «рассуждал с ним о конституциях английской и американской в отношении выгод и преимуществ оных и в приложении их к России, были ли бы оные полезны для сего государства»<sup>81</sup>.

Во время следствия Лорер сначала пытался отрицать причастность Е. А. Канчиалова к движению декабристов, чтобы оградить его от опасности, — «спомня при том, что он — полковник, изувеченный ранами и имеет святого Георгия от-

<sup>80</sup> Адрес-календарь Полтавской губернии на 1880 год, Полтава, 1880, с. 524.

<sup>81</sup> Записки декабриста Н. И. Лорера, М., 1931, Приложения, с. 290.



личие»<sup>82</sup>. Но затем Н. Лорер вынужден был признать: «...В 1824 году я предложил ему вступить в тайное общество, что он охотно принял»<sup>83</sup>.

Отдаленным потомком Кончиеловых из В. Будищ в начале XX века был Канчиялов Евгений Федорович — статский советник, неперемный член Полтавского отделения крестьянского Поземельного банка. Он жил в Полтаве, по ул. Гоголевской, № 7.

Грузинская фамилия **Одишилидзе** под влиянием русского произношения превратилась в Адешелидзе. Родоначальником этой семьи, прижившейся на Украине, был Одишелидзе Яков (род. в 1714 году), грузинский дворянин. В 1740 году он начал службу в гусарах, в 1753 году был вахмистром второй роты Грузинского гусарского полка, вышел в отставку в звании капитана. Небольшое его имение — 10 дворов — находилось в Миргороде, где он жил постоянно после окончания службы. В 1767 году, когда для выработки нового свода законов была создана т. н. «Комиссия об уложении», в дворянских собраниях избирались депутаты в эту комиссию и составлялись «наказы депутатам», Яков Одишелидзе в числе прочих украинских и грузинских дворян подписался под наказом»<sup>84</sup>. Умер Яков Одишелидзе между 1767 и 1783 годами.

В «ревизских сказках» — подворовых переписях Миргородского уезда за 1783 год, которые были обнаружены исследователем жизни и творчества Давида Гурамишвили Д. М. Косариком<sup>85</sup>, зафиксированы имена живших в Миргороде Одишелидзе: поручика Ильи, вахмистра Ивана, а также Петра и Василия.

В XIX веке сыновья Семена Адешелидзе — Юрий (Георгий) Семенович и Николай Семенович — служили чиновниками в государственных учреждениях. Николай получил образование в уездном училище, в 1865 году поступил на службу. Был младшим канцелярским служителем. С 1879

<sup>82</sup> Там же, с. 313.

<sup>83</sup> Там же.

<sup>84</sup> Наказы малороссийским депутатам 1767 года и акты о выборах в комиссию сочинения уложения. Издание «Киевской старины», К., 1889, с. 67.

<sup>85</sup> См.: Косарик Д. М., Братні зорі, К., «Радянський письменник», 1948, с. 129.

года он — помощник надзирателя окружного акцизного управления (в Кременчугском уезде). Юрий Семенович в чине коллежского советника служил казначеем уездного казначейства Лубенского уезда, затем в Полтавском казначействе. В годы его жизни в Полтаве он поддерживал приятельские отношения с украинским писателем П. Мирным: Юрий Семенович был сыном крестного отца Панаса Мирного. Они жили в одном доме.

Фамилия Адешелидзе встречается на Миргородщине и в наше время, в частности в селе Зубовка, где их предки жили еще с XVIII века, со времен Давида Гурамишвили. Грузинский советский поэт Карло Каладзе в стихотворении «Встреча» писал о жительнице Зубовки Татьяне Адешелидзе:

О девушка, хотя твой взор поник,  
Все до конца я понял в тот же миг,  
Когда ты назвалась Одишелидзе,  
Я будто в глубь души твоей проник...  
Ты и грузинка, ты и украинка.  
Ты та любовь, что сочетала нас.

Жила на Полтавщине и семья Ревазовых, грузинских дворян. Спиридон Ревазов (род. в 1718 году) приехал в Россию в 1725 году, с 1738 года служил в гусарах, с 1750—в звании вахмистра. В 1752 году занимался вербовкой гусар на Украине. Родственник Спиридона Дмитрий Ревазов приехал в Россию позднее, в 1734 году, «с матерью, братом Пيرانом, с женою, сыном да с дочерью». Спиридон и Дмитрий были пожалованы 10 дворами каждый в м. Новые Санжары.

И сейчас в Новосанжарском районе есть два населенных пункта, оба носящие название Ревазовка, расположенные по обе стороны реки Ворскла на расстоянии около 15 километров. В последнее время они присоединены к соседним более крупным населенным пунктам: одна Ревазовка — к селу Грекопавловка, а другая — к селу Пологи-Низ<sup>86</sup>.

В м. Остапье Миргородского полка в 40-х годах XVIII века поселился грузинский дворянин Герастий Тулаев (он

<sup>86</sup> Полтавська область. Адміністративно-територіальний поділ. Довідник. Харків, «Прапор», 1978, с. 51, 53, 196.



же — Герасим Тулов), 1703 года рождения, получивший в свое распоряжение 10 крестьянских дворов. По нашему предположению, к этой же семье следует отнести и князя Иона-тама Тулаева. По данным С. Кубанейшвили<sup>87</sup>, на Украине владел 30 дворами некто Иона Тамтулаев — 1693 года рождения, в 1753 году квартирмейстер Грузинского гусарского полка. Вероятно, Иона Тамтулаев является искаженной фамилией Ионатам Тулаев. Ошибка произошла вследствие слияния, а затем неправильного расчленения имени и фамилии, по вине русских писарей, не знакомых с особенностями грузинской ономастики и изменявших грузинские имена и фамилии применительно к особенностям русской речи.

**Туманишвили** — одна из самых распространенных фамилий вахтанговской эмиграции. Только в свите Вахтанга VI было шесть князей Тумановых. Один из них, Мирвел Туманов (род. в 1704 году), служил в Грузинском гусарском полку в звании поручика, вышел в отставку в звании секунд-майора. В 1743 году получил в Прилукском полку, в м. Сребном 29 дворов с 38 хатами. Есть сведения о том, что в 1767 году он жил в своем имении на Прилукщине.

С Украиной связана деятельность грузинского дипломата конца XVIII века Сулхана Туманишвили. Он был членом грузинского посольства в Петербурге, заместителем главы посольства Гарсевана Чавчавадзе. В 1787 году в качестве поверенного Картл-Кахетинского царства он в составе грузинского посольства находился в г. Кременчуге.

Известно, что на Украине жила княжна Елизавета Васильевна Туманова (1779—1842), которая была замужем за Брежинским Андреем Богдановичем, черниговским дворянином<sup>88</sup>. Члены семьи Туманишвили славились своей образованностью, знанием и тонким пониманием поэзии, ценили творчество жившего на Украине поэта Давида Гурамишвили (в Институте рукописей АН Грузинской ССР хранится рукописный список с «Давитиани», переписанный в 1822 году Давидом Ректором Алексеевым-Месхиевым для статского советника и кавалера Георгия Туманова).

<sup>87</sup> С. Кубанейшвили, Давид Гурамишвили в Грузинском гусарском полку, Тбилиси, Изд-во АН ГССР, 1955, с. 222.

<sup>88</sup> Как уже отмечалось, с Брежинскими в первой половине XIX века состояли в родстве грузины Жеваховы.

Кроме рассмотренных нами грузинских семей на Украине проживало множество других, о которых обнаружено меньшее количество сведений. К ним принадлежат, например, **Бедауровы**. Иван Бедауров (род. в 1716 году), имеретинский дворянин, получил в м. Сребном 10 дворов, а в 1753 году он был владельцем всего лишь одного двора. После службы в Грузинском гусарском полку, где он с 1748 года служил в звании вахмистра, Бедауров продолжал службу в Новосербском гусарском эскадроне, откуда вышел в отставку капитаном и жил в своем имении на Прилукщине.

По соседству с Бедауровым, в Сребном, жил его ровесник прапорщик Павел **Гогибедов** (Папуна Гогибедашвили), а в Великих Будицах — Спиридон Гогибедов.

В Великах Полтавского полка вместе с сыном Стефаном жил князь Кайхосро **Гуриели**, в 40-х годах командовавший Грузинским гусарским полком. Фамилия Гуриелов со временем трансформировалась в Гурьялов. Княжна Дарья Ивановна Гурьялова (род. в начале XIX века) состояла в замужестве за гвардии полковником Павлом Потье-де-ла-Фромандьер. В 1825 году у них родилась дочь в с. Немках Рогачевского уезда на Гомельщине<sup>89</sup>.

На Украине жили также **Отарашвили** Иессей и Антон (последний был в числе дворовых служителей Давида Гурамишвили в Миргороде).

В местечке Новые Санжары получили дворы **Павленишвили** (Павлиновы): Борис (Бери) Давидович, Отия (Иотий) и Егор. Отия Павленишвили, по мнению С. Кубанейшвили<sup>90</sup>, является автором поэмы «Вахтангиани», написанной в 1727—1730 годах и описывающей события начала XVIII века.

В Старых Санжарах жили **Кобулашвили** (Хвабуловы). В Миргородском полку, в Ярьсках и Устивице, в середине

<sup>89</sup> Модзалевский В. Л., Малороссийский родословник, К., 1914, с. 112.

<sup>90</sup> Кубанейшвили С. И., Грузинские поэты на Украине в XVIII в., Автореферат диссертации, Тб., Изд-во Тбилисского ун-та, 1962.



XVIII века жил князь Хоссейн Пхеидзе с сыновьями Алексеем и Иваном. Грузин Алексей Александрович **Панчулдзев** (1819—1888) служил одно время губернатором в Чернигове.

Вместе с Давидом Гурамишвили в качестве его дворового служителя приехал на Миргородщину **Сагинадзе** Иван (род. в 1730 году), имевший сыновей Михаила и Леонтия. Несколько семей Сегенадзе (некоторые из них преобразовались в Сегеназ) живут в Миргороде и в наше время. На протяжении XVIII века на Полтавщине, в Келеберде, встречались фамилии **Табаридзев, Табарадзев, Табатадзев.**

Члены известной среди поселенцев семьи **Чолокашвили (Чалакаевы)** жили в м. Сребном: это князья Петр и Семен, а также княгиня Христина Чалакаева с сыном Филиппом. В 50-х годах Чалакаевым принадлежали в Сребном более 50 крестьянских дворов<sup>91</sup>.

В 80-х годах XVIII века городничим в Миргороде был грузин Александр **Чхеидзе**. В Ромнах и в Новых Санжарах владели каждый 30 дворами офицеры Давид и Дмитрий **Шаликовы**, сыновья князя Эдишера Шаликашвили—дворецкого Вахтанга VI.

В Миргородском полку, в с. Барановке Сорочинской сотни получил 10 дворов грузинский дворянин Хоссейн **Шенгелидзе**. В конце XVIII в. на Харьковщине жил Шенгелидзе Даниил Осипович, коллежский асессор, служил городничим в г. Краснокутске. По данным М. Горгидзе, один из известных русских инженеров середины XIX века, изобретатель, новатор в области паровой техники — Шенгелидзе Иван Петрович — «принадлежит к старому поколению грузин, обосновавшихся на Украине, но периодически проживавших и подвизавшихся в Петербурге»<sup>92</sup>.

Следует привести фамилии и других грузин, которые обитали в разных городах, местечках и селах Украины. Известно, что на территории Полтавского полка жили Дарахвелидзе (Даллахвалодзев), Ечубов, Игнатов, Измайлов, Камалисузев (Камалидзе), Каргановы, Каргалетовы (Каргаретели), Клитновы, Левидзе, Малейдзе (Малейзев), Махилов, Мурзинов, Ниниев, Невсадзев, (Немсадзев), Тухарелов, Тхавадзе, Томазов, Чадлов, Чалеев, Чарзеев (Ичарзоев), Чикваидзе (Чиквойзев), Шахандарев, Шеметидзе.

<sup>91</sup> Лазаревский А., Описание старой Малороссии, с. 333.

<sup>92</sup> Горгидзе М. Ф., Грузины в Петербурге, Тб., 1976. с. 198.

Многие грузины обосновались и в Миргородском полку. Это Бебеляревы (Бибилюровы), Бежановы, Кобиевы, Кургановы, Кафаровы (Кафоровы, Каферовы), Лолодзе, Лоладзе, Тушмановы, Хачапуридзе, Харадзе, Шинаевы.

В Лубенском полку прижились Зедгинидзе, Моуравов, Устихнелов, Харебов и другие, а на территории Прилукского полка — Жержадзе, Ларадзе, Гамкрелидзе.

Не исключена возможность, что на Украине жили и другие грузинские семьи. Во всяком случае мы располагаем сведениями о родстве многих знатных грузинских семей с украинскими дворянами. Багратионы также вступали в браки с украинской знатью. Так, к примеру, Багратион Варвара Александровна стала женой Войцеховского Андрея Ивановича (1802—1872) из черниговских дворян. А Багратион Петр Александрович взял себе в супруги уроженку Хоролского уезда Родзянко Елизавету Павловну (1832—1913). Их сын — известный в кавалерийских кругах генерал-майор князь Дмитрий Петрович Багратион — был редактором «Вестника русской конницы». Еще раньше на девушке из семьи Родзянко — Марии Павловне (род. в 1786 году) — был женат Александр Захарович Чавчавадзе (род. в 1780 году), подполковник, адъютант наместника Кавказского.

Константин Имеретинский связал свою судьбу с представительницей знатного старшинско-офицерского рода Рубец Надеждой Ивановной (род. в 1839 году). А светлейшая княжна Имеретинская Мария Константиновна состояла в первом браке с Шиловским Константином Степановичем, а во втором — с Остроградским Михаилом Александровичем (род. в 1857 году), помещиком Полтавской и Екатеринославской губерний.

В разных источниках XVIII—XIX вв. нами встречены фамилии, указывающие на грузинское происхождение их носителей или похожие по звучанию на грузинские фамилии. Например, нежинский полковник Жураковский Андрей Яковлевич был женат на Гуржи Марии Афанасьевне (умерла до 1788 года). Живут по всей Украине множество семей с фамилией Гуржий, происходящей от тюркского названия грузин — «гурджи». На Прилукине несколько раз встречена фамилия Грузиненко, на Полтавщине — Коба. В Миргородском районе и сейчас есть Малорашвыло, Грузин, Патара.

В Полтаве жили дворяне Надаровы (Надареишвили?). В



начале XIX века в полтавской гимназии преподавателем философии работал Павел Сочава (умер в 1814 году).

Грузинское поселение на Украине оставило свои следы и в географических названиях нашего края. Мы уже упоминали о таких топонимах, как Резазовка, Эристовка, Ратиевщина, Герсевановка, Жевахова гора. Есть на Полтавщине села Гуржии, Кобы. Возможно, и среди многочисленных Гусаровок, разбросанных по Украине, есть населенные пункты, получившие название по причине поселившихся там грузинских гусар. Грузинская фамилия Мачабели в изученных нами материалах не встречена, но на Харьковщине, в Барвенковском районе, есть село Мечебилово. По преданию, в XVIII веке этим селом владела княжна Мечебили (Мачабели?).

Грузинская колония на Украине во второй половине XVIII—XIX вв. была заметным явлением в украинской общественной жизни. Из числа грузин вышло много известных деятелей в разных областях литературы, науки, военного дела. Пустив свои корни на Украине, большинство грузинских семей в XIX веке не выехали с Украины, а влились в ее население, оставив свой след в истории. Со временем они полностью ассимилировались.

Если грузинская колония в России первой половины XVIII века представляла собой официальную политическую группу, преследующую определенные цели: добиться независимости Грузии от турецких и персидских поработителей, заручиться мощным покровительством со стороны России и т. п., — то грузинские поселенцы на Украине уже не представляли собой такой общности. Они уже не были политической силой, в значительной степени влияющей на ход развития событий государственной важности, тем более, что к концу XVIII века между Россией и Грузией уже установились вполне определенные взаимоотношения, приведшие к присоединению Грузии к России. Однако это отнюдь не умаляет значения той роли, которую сыграла грузинская колония на Украине в сближении украинского и грузинского народов.

Можно определить некоторые общие черты и закономерности, присущие всей грузинской колонии. Служба многих поколений грузинских семей в рядах русской армии была и их почетной обязанностью, и семейной традицией. Родство с украинскими семьями способствовало расширению знаний

украинского народа о Грузии, о ее культуре, литературе, истории.

Со своей стороны грузины, а также их потомки, принимали активное участие в общественной жизни Украины, проявляли глубокий интерес к разным сторонам жизни ее народа, к ее прошлому, старинным реликвиям.

Многие представители грузинских семей, несмотря на княжеское и дворянское происхождение, воспитывали своих детей в демократических традициях, прививали им прогрессивные идеи. Не случайно из числа грузинских эмигрантов вышли люди передовых взглядов, революционных устремлений, декабристы или близкие к ним (Н. И. Лорер, А. С. Гангеблов, З. С. Херхеулидзе, Е. А. Канчалов, Д. А. Эристов).

Грузинские поселенцы на Украине и их потомки на протяжении многих десятилетий не прерывали связей со своей оставленной родиной, помнили о своем происхождении, знали грузинский язык, сохранили прочный интерес к Востоку.

Грузинская колония на Украине во второй половине XVIII и в XIX веке является яркой страницей в летописи дружбы русского, украинского и грузинского народов. Она сыграла большую роль в сближении Украины и Грузии, была своеобразным прологом к тем великим переменам, которые произошли во взаимоотношениях наших народов, объединившихся в могучий, непобедимый и дружный Союз братских республик.





- ДОКУМЕНТЫ,
- ПИСЬМА,
- ВОСПОМИНАНИЯ

## СПУСТЯ ДВА ВЕКА

### ПОДЛИННИК ПОЛНОМО- ЧИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОССИИ НА РУССКО- ГРУЗИНСКИХ ПЕРЕГОВО- РАХ В 1783 ГОДУ

**И** СПОЛНИЛОСЬ более 200 лет с момента подписания в 1783 году Георгиевского трактата — дружественного договора между Россией и Картли-Кахетией (Восточная Грузия). В условиях усиления во второй половине XVIII века турецко - иранской агрессии в Закавказье Россия приняла Картли - Кахетинское царство под свое покровительство с обязательством защищать его от внешних врагов.

Договор вызывал всегда большой интерес историков, как дореволюционных, так и советских<sup>1</sup>. Предметом ис-

следования становился не только сам договор, но и комплекс документов, раскрывающих историю его дипломатической подготовки. Важнейшими из таких документов являются грамоты, подтверждающие полномочия представителей договаривающихся сторон.

Полномочными представителями с грузинской стороны были назначены князь Иван Багратиони и князь Гарсеван Чавчавадзе. Подлинник выданных им полномочий хранится в Архиве внешней политики России<sup>2</sup>. Этот документ был подробно исследован В. Мачарадзе и С. Повальниковым в статье, посвященной подлиннику Георгиевского трактата<sup>3</sup>. В той же статье упоминается и о том, что уполномоченным со стороны России был назначен князь Григорий Александрович Потемкин, которому предоставлялось право, в случае невозможности лично вести переговоры, назначить другое лицо по своему усмотрению. Таким доверенным лицом стал генерал - поручик Павел Сергеевич Потемкин, родственник Г. А. Потемкина, назначенный в 1782 году командующим Кавказской укрепленной линией. Авторы статьи высказывают сожаление по поводу того, что документы, подтверждающие полномочия представителей России, не сохранились<sup>4</sup>. В

<sup>2</sup>) АВПр, ф. Трактаты, оп. 2, д. 178, лл. 3—8.

<sup>3</sup>) Мачарадзе В., Повальников С. Подлинник русско-грузинского договора 1783 года. «Литературная Грузия», № 2, 1982, с. 201—210.

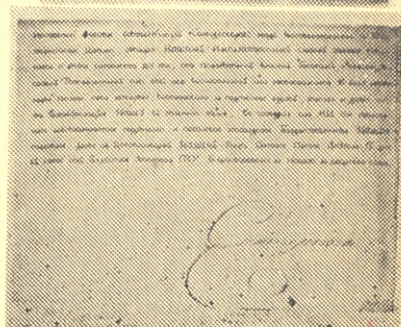
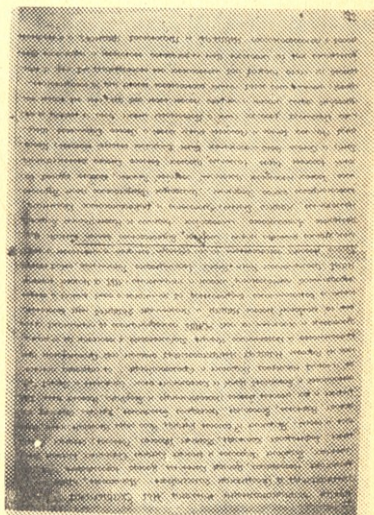
<sup>4</sup>) Там же, с. 202.

<sup>1</sup>) 200 лет великой дружбы, Георгиевский трактат. Тбилиси, 1982.

примечаниях к статье говорится о том, что русские полномочия были зачитаны П. С. Потемкиным в ходе переговоров, переданы грузинской стороне и, вероятно, погибли вместе с архивом Грузинского царства в Тбилиси в 1795 г.<sup>5</sup> Авторы не указывают источник этих сведений, ограничи в а я с ь лишь обещанием рассмотреть дневник переговоров отдельно. Речь, видимо, идет о «Подневной записке о совершении трактата в признании империей Российской царя грузинского Ираклия, со всеми областями его, вассалом, заключенного 1783 года, июля 24 дня»<sup>6</sup>. Это дневник-рапорт, представленный П. С. Потемкиным после заключения русско-грузинского договора Г. А. Потемкину, в котором подробно описан весь ход переговоров и церемония подписания трактата. Согласно этому документу, 19 июля в 5 часов вечера, при очередной встрече русских и грузинских представителей, после богослужения П. С. Потемкин произнес речь о цели переговоров и предложил перейти к размену полномочий. Он зачитал «полную мочь», данную от Екатерины II Г. А. Потемкину, и перевод этого документа передал князю Багратиони, затем была зачитана «полная мочь» на имя самого генерал-поручика П. С. Потемкина, выданная ему от Г. А. Потемкина<sup>7</sup>. Таким образом, дневник переговоров свидетельствует о том, что подлинник русских полномочий

не был передан грузинской стороне. В Тифлис была доставлена полномочная грамота Г. А. Потемкина, переведенная на грузинский язык. Подлинник был возвращен в Россию, вероятно, в коллегию иностранных дел, о чем говорит помета на обороте документа: «графу Ивану Остерману»<sup>8</sup>. Впослед-

8) Граф И. А. Остерман с 1774 г. был членом коллегии иностранных дел, а к 1783 г. — вице-канцлером.



5) Там же, с. 209.  
6) ЦГВИА СССР, ф. 52, оп. 1/194, ч. I, лл. 164—176.  
7) Там же, л. 168.



ствии грамота была передана в архив князя Г. А. Потемкина - Таврического и в настоящее время хранится в его личном фонде в Центральном государственном военном - историческом архиве СССР<sup>9</sup>.

Текст полномочий Г. А. Потемкина опубликован в журнале «Вопросы истории» в числе других документов по истории Георгиевского трактата 1783 г.<sup>10</sup> Однако интерес представляет не только содержание, но и внешний вид этого документа. Грамота написана на бумаге голландского производства («большая голландская бумага»), на что указывает водяной знак с надписью «J. Kool». Жан Кюл — нидерландский фабрикант бумаги, которая имела довольно широкое распространение в России<sup>11</sup>. Это плотная бумага крупного формата, размер листа 43x31 см. Текст размещен с двух сторон листа, на лицевой стороне он занимает площадь 37x27 см. и на оборотной 9,5x26,5 см. На лицевой стороне оставлены поля свер-

ху, слева и внизу, размеры которых соответственно 2 см., 4 см. и 4,5 см., а сверху и слева 1,2 и 4,3 см. Расстояние между строк 1,1—1,2 см, размер букв по высоте 0,2—0,3 см., чернила черные. На обороте документа под текстом стоит подпись Екатерины II, а внизу листа приложена большая гербовая сургучная печать (оттиск на сургуче красного цвета). Печать имеет круглую форму диаметром 14 см., с изображением герба Российской империи и надписью по кругу «Екатерина II божиею милостию императрица и самодержица всероссийская».

Подлинник полномочий П. С. Потемкина не обнаружен до настоящего времени, но дневник переговоров также не дает оснований утверждать, что этот документ был передан грузинской стороне. Очевидно, что основным документом полномочий русских представителей считалась грамота, выданная Г. А. Потемкину, так как именно она исходила от верховной власти.

Описанная грамота относится к числу важнейших документов, раскрывающих историю юридического оформления Георгиевского трактата 1783 года, договора, ставшего манифестом дружбы русского и грузинского народов.

**М. РЫЖЕНКОВ,**

старший научный сотрудник  
Центрального государственного  
военно - исторического  
архива СССР

<sup>9</sup> ЦГВИА СССР, ф. 52, оп. 2, д. 28, лл. 19—20 об.

<sup>10</sup> Кардашев Ю. П., Рыженков М. Р. Документы к истории заключения Георгиевского трактата 1783 г. «Вопросы истории» № 7, 1983, с. 115.

<sup>11</sup> Клепиков С. А. Филигрны и штемпели на бумаге русского и иностранного производства XVII—XX вв. М., 1959, № 1153.

**СОГЛАСИТЕСЬ**, уже название книги Михаила Туманишвили «Режиссер уходит из театра» не могло не привлечь к себе внимания любителей театрального искусства. К тому же многим из нас, современникам режиссера Михаила Туманишвили, памятны дни, связанные с его уходом из театра им. Руставели. И не удивительно, что мы взяли в руки эту книгу с особым волнением.

Какова структура произведения М. Туманишвили? Трудно сразу ответить на этот вопрос. На ум приходят такие слова, как fuga, симфония. Какое же из них более всего соответствует его художественному построению?

С другой стороны, не хочется определять реалии книги художественной терминологией, настолько она самобытна и своеобразна.

Режиссер ушел из театра... и спустя годы, после долгих раздумий написал книгу о причине своего ухода. Улеглись страсти, утихла боль... «Я вышел на улицу и захопнул за собой дверь», и «театр остался далеко, как большой и туманный силуэт города».

Это было много лет назад. А теперь все прояснилось и стало на свои места, туман рассеялся, силуэт обрел отчетливые контуры. А факт ухода из театра стал новым импульсом к творчеству. Размышления о жизни, личность и профессия, каждодневность и стремле-

М. Туманишвили Режиссер уходит из театра. М., «Искусство», 1983.

Мераб ГЕГИЯ

## КНИГА- ИСПОВЕДЬ



ние к цели, субъективное восприятие и общественная мысль, реминисценции, ассоциации, детали, штрихи — все это переплелось в книге, и все-таки главная ее тема — театр.

Михаил Туманишвили рассказывает о своем восприятии мира, не ограничиваясь строго определенными жанровыми рамками, однако его книга оставляет впечатление канонической цельности. Потому что написана она человеком с призванием, человеком, достигшим своей цели, отдавшим всего себя этой цели.

Вот перед нами блестящие картины детства режиссера. Каждая страница — дань искренней любви к искусству. Первые театральные впечатления, берущие, оказываются, начало в постановках Сандро Ахметели, перемежаются с нашими днями, современностью, и снова мостик в прошлое, а от него — и к будущему. Мысль солнечным светом пронизывает страницы.

Годы войны: Михаил Туманишвили — в форме солдата. В солдатской шинели придет он позже в театральный институт. Всего несколько слов, несколько пассажей (а ритмом и пассажами он владеет как профессиональный писатель), и мы не только ощущаем атмосферу войны, но и видим кавалерийскую поступь будущего прославленного режиссера.

Еще несколько страниц — и в потоке мышления всплывает педагогический опыт режиссера. Вот и первая цитата — та визитная карточка, по которой не-

трудно узнать автора книги: «Я часто вспоминаю слова Айседоры Дункан, они помогают мне в минуты сомнений. Дункан сказала своим маленьким ученикам так: «Дети, я не собираюсь учить вас танцам: вы будете танцевать, когда захотите, те танцы, которые подсказет вам ваше желание. Я просто хочу научить вас летать, как птицы, гнуться, как юные деревца под ветром, радоваться, как радуется майскому утру бабочка, лягушонок в росе, дышать свободно, как облако, прыгать легко и бесшумно, как серая кошка...»

Эти слова — камертон душевного настроя автора. Кому танцуется, пусть танцует, но для вдохновения надо учиться, тем более, если своим вдохновением ты должен зажигать других. И мы знаем, как учился вдохновению и как учил ему Михаил Туманишвили. И органически рождается тема театральной педагогики, когда автор вспоминает Станиславского и уроки своего первого педагога Георгия Товстоногова.

Студенческие годы. Первые творческие понятия, которые впоследствии станут для него путеводными. Поиск загадки тайн театрального действия. Первая встреча с актерами, первые профессиональные истины: «Надо все доводить до конфликта. Не рассуждайте, а злите партнера, уничтожайте, оскорбляйте». Первые московские впечатления, встречи с выдающимися театральными деятелями. Все это автор воспроизводит одним мазком, заостряя вни-

мание на главном, ни на минуту при этом не снижая внутренней экспрессии.

А как выигрывает книга от прекрасно воссозданной атмосферы! Я с удовольствием прошел с автором по старым улочкам и переулкам Тбилиси тридцатых годов, увидел, как перед магазинчиками торгуют всякой всячиной, как плывут по Куре плоты, а по улицам на осликах развозят мацони, как проносятся по улицам фаэтоны, и муша-грузчики, несущие поклажу, выкрикивают «Хабарда!», что значит «Посторонись!». Из множества картин прошлого он выделил главное, самое значительное и характерное, и потому заинтересовал не только тех, кто не знал старого Тбилиси, но и тех, кто еще помнит его.

Все картины воспроизведенной в книге жизни прошли через сердце автора, всему он находит соответствующие слова и определения, избегая категоричности суждения. Именно это придает книге удивительную достоверность, рождает в читателе желание поразмыслить вместе с автором. К тому же у автора есть прекрасный союзник — юмор. Сколько раз у нас возникало желание поделиться своей радостью от чтения книги, перерассказать (или прочитать) понравившуюся сцену или диалог. Такое же чувство охватывало нас и по прочтении страниц, серьезность и значительность которых не подлежит сомнению. Это также режиссерский прием (только перенесенный в прозу). Разве

Брехт не завещал «развлекать обучать»?

В таком же «легком», но в принужденном тоне ведет Михаил Туманишвили рассказ о начале своей творческой деятельности. И хотя он пишет о театре того периода, исключая всякую претензию на роль историка, на мой взгляд, он сказал гораздо больше, нежели автор учебника по истории театра — хотя бы потому, что в книге речь идет о самых значительных в то время театральных явлениях, о самых ярких театральных деятелях. И опять-таки внутренняя взаимокоординация картин создает единую, цельную панораму.

Одним мазком, вскрывая суть, постигая дух, создает Михаил Туманишвили творческие портреты Акакия Хоравы, Акакия Васадзе, Серго Закариадзе, Васо Годзишвили, Верико Анджапаридзе, Сесилии Такашвили. И опять режиссер обращается к верному, испытанному способу — дает портрет с помощью характерного, ярко выраженного штриха.

Вспомним отдельные штрихи, воссоздавшие общую атмосферу тех лет, когда он начинал свою творческую деятельность. Вот ему, уже режиссеру театра им. Руставели, предложили поставить пьесу на «производственную» тему, и хотя он ничего в этой пьесе «не понял», все-таки с великим рвением взялся за работу. Прежде всего он создал макет декорации. Компетентные лица, члены художественного совета, не одобрили макет. Убитый первым поражением режис-



сер выходит из макетной, которая находилась рядом с галеркой театра. Он посмотрел сверху вниз на переполненный зрительный зал. «Что-то кричала толпа статистов на сцене, хохотал и рукоплескал зритель». Взгляд его невольно остановился на купидонах и ему показалось, «что гипсовые купидоны улыбались... сочувственно». Выйдя из театра, он обратил внимание, что на афише у входа огромными буквами было написано: «Измена». А завершилось все пожаром в театре, и Михаил Туманишвили заключает: «Так, с пожара, началась моя жизнь в профессиональном театре».

Кстати, гипсовые купидоны, афиша и пожар не главное в рассказе автора, они вторичны, но именно они создают удивительно доверительную интонацию повествования.

Нередко в воссоздании общей атмосферы Михаилу Туманишвили помогает метафора. Его размышления над теми или иными явлениями театральной жизни всегда интересны, а неожиданная метафора как бы приближает нас к ней. «Сплетни — это тоже мир кулис (неожиданное, но продиктованное любовью заявление), это часть его атмосферы. Нет, нет, я говорю не о том, что называют клеветой, интригой, — я сейчас не об этом. Нет, закулисные сплетни — это шелест ожидающих работ актеров, это как трепет листьев, чей-то живой шепот». Эта метафора особенно понятна тем, кто хоть раз бывал свидетелем

подобного закулисного шепота.

Случается, автор прибегает к сравнениям. Вот как рисует он процесс выявления конфликта в пьесе: «Еще раз перечитываю «Дело» Сухово-Кобылина. Рассматриваю пьесу, как терапевт из районной поликлиники, — бегло, со стороны. Выявляю, кто в чем принимает участие, о чем все это написано. Тут уже мало беглого осмотра. Обязательно нужно найти главную причину происшествий. Кто-то сравнил причину болезни со спичкой, от которой загорелся дом. Представьте себе, как трудно найти эту спичку после пожара».

Аналитическое мышление и художественное видение — вот что отличает Михаила Туманишвили — художника. Каждое сравнение, каждая метафора несут определенную художественную функцию. Уже через несколько страниц книги вы понимаете, что он не случайно вспомнил кулисы и купидонов, что у него вообще ничего случайного нет. Даже простое описание природы подчинено определенному, жесткому подтексту.

Мы вочию представляем себе, как собралась в ресторане «Гемо» знаменитая «Швидкаца». С чувством юмора, в котором, конечно же, сквозит и некоторая доля ностальгии, рассказывает Михаил Туманишвили о первом сборе своей «армии». Здесь на «тайной вечере» встретились Котэ Махарадзе, Бадри Кобахидзе, Гоги Гегечкори, Медея Чахава, Эроси Манджгаладзе, Нодар Чхеидзе, Мераб Ге-

гечкори, Карло Саканделидзе и, разумеется, Михаил Туманишвили, их предводитель и идейный вдохновитель. Сегодня это уже — история. А тогда это было началом новой театральной поры. И здесь же автор прибегает к краткой характеристике «Швидкацы», в которой, на мой взгляд, представлены основные черты: актеров.

Михаил \* Туманишвили рассказывает (правильнее было бы сказать — воспроизводит) не только о событиях и людях той поры, но и о процессах создания своих спектаклей, начиная от замыслов, кончая их практическим осуществлением. Причем обо всем этом рассказывается с таким профессиональным мастерством, так емко и зрелищно, что не грех воспользоваться его опытом теоретикам творчества. Конкретная идея переплетается с теми импульсами, которые побудили автора обратиться именно к данному спектаклю, а не к другому.

Автор повествует не только об эволюции спектакля, но и о своей творческой эволюции в искусстве. Вспоминает, как тема диктовала ему определенные художественные средства, как метод действенного анализа стал главным в его творчестве, и что было сделано им для изучения и внедрения этого метода. Причем обо всем этом повествуется удивительно живо и впечатляюще, с искренним желанием облегчить «трудности пути» тому, кто идет вслед за ним. Фактически автор раскрывает целый

арсенал средств, используемых в создании спектакля, который дан в следующей последовательности: как оживить «ледяные слова» (вновь прекрасная метафора), конфликт — это движущая сила сценической жизни спектакля, определенный порядок, последовательность явлений, желание, действие, физическое действие, приспособление, и венец всему этому — чувство. Средства, используемые им при репетициях, — этюд, импровизация. Далее автор беседует о форме спектакля. Повторяю, все это настолько вплетено в ткань театральной и общественной жизни, что невозможно даже при желании заметить дидактичность или же назидательность тона. Все проникнуто ощущением новизны, желанием экспериментировать.

Профессия режиссера, считает Михаил Туманишвили, зиждется на трех китах — воображении, разуме, чувстве. Особо важную роль отводит он воображению, тем самым раскрывая свое отношение к театральному искусству. Вот почему более всего ценит он в искусстве умение мыслить образами. «Воображение нельзя увидеть, его не прощупаешь, но оно всегда в тебе — пульсирует, вспыхивает, гаснет, то искрится, то будто засыпает. Какой-то другой мир в себе. Мир в мире. Невидимый, но очень чутко реагирующий на все, что происходит в действительности. Воображение, ум и чувство — вот три точки нашей профессиональной опоры. Но,



признаюсь, для меня главное — воображение».

Мы не можем не отметить дифференцированный подход режиссера к своей профессии. Вот к какому выводу приходит он после долгой работы в режиссуре: «Развитие режиссерского искусства привело к тому, что возникли как бы два вида театра. Я бы назвал один из них театром знаков, а другой — театром процессов. В одном случае тем или иным способом обозначают явления и процессы, в другом показывают сами эти процессы, то есть движения, изменения — в человеке, в обществе».

Подобная дифференциация режиссерского мышления мне лично кажется вновь. По мнению Михаила Туманишвили, соединение процессов и знаков должно принести лучшие плоды, примером могут служить такие спектакли, как «Свадьба» (А. Эфроса) и «История лошади» (Г. Товстоногова). И он приходит к заключению, что «равновесие в сочетании процесса и знаков, вероятно, возможно, если мы возведем актерское искусство в культ, создадим для актера самый благоприятный климат и направим все наше внимание в сторону актерского творчества».

Вот уже два десятилетия я наблюдаю за творческой деятельностью Михаила Туманишвили, художника широкого диапазона, умеющего видеть и мыслить масштабно, художника, с именем которого связаны ярчайшие страницы современного грузинского театра. Однако не-

льзя не признать, что до выхода в свет его книги мы, оказывается, многие из нас не знали. Способность в работе своей мыслить аналитически сочетается в нем с режиссерской неукротимостью. Твердые театральные убеждения, ярко выраженный и уже отработанный метод он не задумываясь отвергнет, если какой-либо другой метод покажется ему ярче, интереснее и, что главное, — будет отвечать требованиям времени. Подобное отношение к искусству возможно лишь в том случае, если ты веришь в него как в нечто вечно живое, неуязвимое. Его трогательная любовь к «малюсенькой» аудитории театрального института, его стремление к камерному, интимному, предельно психологическому театру объясняются тем, что компас художника всегда нацелен на современность. Именно стремлением идти в ногу со временем была продиктована его борьба против литературных штампов, тяга быть на уровне времени сблизила с молодежью, и это же чувство привело его в молодежный коллектив. Сегодня М. Туманишвили — художественный руководитель этого коллектива.

Давай те попробуем... Эти слова рефреном звучат в книге. Попробуем — это значит прикоснемся к чему-то новому, еще неизвестному. Попробуем — значит рискуем, а разве без творческого риска и азарта может быть интересной театральная, да, пожалуй, и не только театральная жизнь.

И под конец вновь проци-

тируем автора книги: «От жизни художника остаются вежи. Как на дороге километровые столбы — памятники удач. Вот эта дорога и есть твоя традиция. Куда она пойдет дальше, после тебя, никто не знает. Может быть, и оборвется, если время откажется от этой дороги и продолжит другие, в противоположном направлении...»

С этими словами я не могу согласиться, ибо какой бы ни была дорога, по которой в дальнейшем пойдет грузинский театр, отрезок пути, пройденный театром вместе с Михаилом Туманишвили, останется в истории славной вехой. Что же касается театральной деятельности «Швидкацы», — это опять-таки одно звено в цепи, звено, без которого цепь разорвется.

Книга Михаила Туманишвили дает пищу многим — и любителям, и профессионалам театра — первым она может служить настольной

книгой, вторым дает возможность заглянуть в творческую лабораторию художника.

Режиссер ушел из театра... Он рассказал в своей книге о периоде творческой деятельности, связанном с театром им. Руставели. Может ли читатель рассчитывать на продолжение рассказа? Было бы очень желательно.

Особо хочется сказать о зарисовках автора, украсивших книгу и придавших ей определенную интонацию.

Одного великого писателя попросили рассказать об идее своего романа-эпопеи. Он усмехнулся и ответил, что если бы мог это сделать, то не написал бы романа-эпопеи.

Остановись я подробнее на книге, раскрой, как говорится, все скобки и поставь все точки над «и», она не стала бы привлекательнее для читателя. А ведь за ним — последнее слово.



## НЕМНОГОЕ О МНОГОМ

**Н**ОВАЯ книга М. Златкина носит довольно скромное название — «Немногое о них...»<sup>1</sup>. Однако знакомство с ней убеждает, что книга дает читателю **многое**: вводит его в интереснейший мир творческого бытия таких замечательных писателей, литераторов, художников, общественных деятелей, как Константин Гамсахурдиа, Николай Тихонов, Ладо Гудиашвили, Виктор Гольцев, Бесо Жгенти, Николай Заболоцкий, Лавросий Каландадзе, Георгий Леонидзе, Михаил Мревлишвили, Шалва Нуцубидзе, Константин Симонян, Демна Шенгелая,

<sup>1</sup> М. Златкин. Немногое о них... Штрихи к портретам. «Сабчота Сакартвело», Тбилиси, 1983.

повествует о неизвестных фактах русско-грузинских литературных взаимосвязей, о многолетних личных контактах с выдающимися художниками слова, о тех значительных деталях, которые помогают в создании их литературных портретов, способствуют проникновению в тайники их творческой лаборатории.

«Эта книга, — пишет автор, — сложилась из особенно запавших в мою память фактов и встреч, из переписки с писателями, с которыми мне довелось общаться в течение многих лет в издательстве художественной литературы».

Однако рецензирую я эту книгу, конечно же, не просто мемуары. И предыдущее произведение М. Златкина, выдержавшее несколько изданий (в том числе и на грузинском языке) и носящее название «Когда книга сближает народы», синтезирует воспоминания и литературоведческие изыскания, личностные моменты и критический анализ произведений, основных тенденций творчества того или иного писателя.

О правомочности и жизненности подобного жанра свидетельствует и «Немногое о них...» Каждый раздел книги представляет собой самостоятельное повествование о том или ином писателе, но в то же время все они вместе взятые создают целостную картину различных аспектов русско-грузинских литературно-культурных взаимосвязей, своеобразную летопись литературных событий 30-70-х годов.

Много нового и интерес-

ного узнаем мы из рецензируемой книги. Например, о том, какое непосредственное и заинтересованное участие принимал К. Гамсахурдиа в подборе переводчиков своих произведений на русский язык, как неустанно трудился вместе с ними над переводами. «Мне никогда не забыть, — утверждал этот выдающийся советский писатель, — заботы моего искреннего друга А. Н. Тихонова, который шесть месяцев был рядом со мной, когда я исправлял выполненный Ф. Твалтвадзе перевод «Десницы великого мастера».

Процесс этой кропотливой работы К. Гамсахурдиа над уже готовыми переводами своих произведений удачно прослеживается в книге.

Интересен анализ статей и высказываний Н. Тихонова о грузинской литературе. Он дополняется рядом неизвестных ранее фактов, позволяющих по-новому осмыслить отношение замечательного русского писателя к Грузии. К примеру, касаясь истории издания двухтомника произведений Н. Тихонова, М. Златкин приводит интересную переписку с писателем, завершая ее таким немаловажным выводом: «Письмо это я получил по возвращении из отпуска и первым долгом приступил к ознакомлению с рукописями Н. Тихонова. Конечно же, ничего сокращать не пришлось, хотя и получился вместо предполагавшегося одностомника — двухтомник, надо сказать, прекрасно спланированный автором. Отмечу еще (к сведению исследователей твор-

чества Н. Тихонова), что все материалы для этого издания были подобраны «подсказки» издательств в а самим поэтом и, следовательно, отражают его вкус, его творческое представление о «проверке временем», что особенно ценно, и то новое, что создавалось им в последние годы».

В разделе «Глашатай дружбы» М. Златкин рассказывает об отношении В. Гольцева к грузинской культуре, говорит не только о его книгах, о его приездах в Грузию, но и о том, какие доселе «незримые» услуги оказал он грузинской литературе, сумев привлечь к переводческой работе Н. Заболоцкого, М. Цветаеву и других. «Виктор Викторович, — читаем в рецензируемой книге, — писал мне 26 июля 1948 года: «Надеюсь, что Вы довольны А. С. Кочетковым, хотя порою его надо немного «пришпоривать». Если Вам нужен еще один квалифицированный поэт - переводчик и прозаик, который мог бы обрабатывать прозаические переводы, то я мог бы рекомендовать Вам Николая Корнсевича Чуковского... Если бы Вы пригласили его для большой работы в Грузию осенью, то, вероятно, он согласился бы». «Действительно, — добавляет М. Златкин, — и Кочетков и Чуковский славно поработали в нашем издательстве, а переводческий талант замечательного поэта Николая Заболоцкого явился подлинным открытием для грузинской и русской поэзии».

А сколько метко подмеченных черточек человеческих характеров и поступ-



ков щедро рассыпано на страницах книги М. Златкина! Опять же не могу воздержаться от цитаты: «В одной аудитории с содокладом на совещании должен был выступить Бесо Жгенти. Председательствующий зорко следил, чтобы у каждого оратора при выходе на трибуну был в руках заранее написанный текст речи. Он не признавал исключений из «правил». Об этом знал Бесо, который обычно выступал без подготовленного письменного текста, но тщательно подготовившись к выступлению. Когда очередь дошла до него, он быстрым движением взял у сидящего рядом с ним за столом президиума профессора машинописный текст и, как ни в чем не бывало, направился к трибуне. Председательствующий метнул взгляд на Бесо Жгенти, словно ожидая подвоха, и, видимо, был вполне удовлетворен, увидев в его руках белую стопку бумаги. А Бесо свободно, нисколько не запинаясь, блистательно произнес свою речь, словно его вдохновляла лежащая перед ним чужая работа. Закончив содоклад, Бесо под аплодисменты слушателей вернулся на свое место и с благодарной улыбкой

незаметно подвинул соседу «отслужившую» стопку бумаги».

Такие, на первый взгляд незначительные детали придают особый интерес книге М. Златкина, которую обогащают и впервые публикуемые документы, редкие фотографии.

Особо хочется сказать о заключительной главе «Современник свидетельствует», в которой М. Златкин выступает как теоретик мемуаристики. «История эпохи, — пишет он, — создается не только из документов, но и из свидетельств современников, в какой бы форме эти свидетельства ни были выражены».

О том, что это действительно так, говорит и сама книга «Немногое о них...», которую закрываешь с чувством невольного сожаления, испытываемого при расставании с умным и интересным рассказчиком. Впрочем, как пишет сам М. Златкин, при наличии времени и досуга он попытается еще рассказать о Л. Киачели, С. Чиковани, А. Абашели, Г. Асатиани и других. Что ж, будем надеяться, что время и досуг у него найдутся и мы еще не раз встретимся с этим умным и интересным собеседником.



**Б**ОЛЕЕ семи лет грузинский драматург Реваз Габриадзе вынашивал идею создания театра марионеток. Появились первые эскизы и наброски будущих кукол. Среди них был и герой сегодняшнего театра — Хечо. Забавы ради Реваз Габриадзе иногда выводил Хечо к гостям. И, как правило, гости очень быстро поддавали под его чары. Затем появился Князь с удивительно добрым и отрешенным лицом, с грустными глазами. Провисели куклы на стене около письменного стола их создателя немало лет. Вскоре родилась маленькая домашняя сцена, завешенная ситцевой занавеской и освещенная торшерами и ночниками. И вот как-то раз, в новогоднюю ночь, показали детям небольшую импровизацию. И не только дети, но и взрослые сидели завороченные, следя за еще несмелыми движениями этих необычных созданий в неумелых руках «артистов».

И начались дни, полные забот и трудов. Надо признать, что рождению театра помог и сам главный герой будущих спектаклей — Хечо. Он смело входил в кабинеты людей, от которых зависела судьба будущего театра, — и мало

Анна НИКОЛАДЗЕ

## ВСТРЕЧА С ПРЕКРАСНЫМ



кто мог устоять перед очарованием старого тбилиси.  
Наконец государственный театр марионеток был открыт. Фасад дома, переданного театру, с невысокой парадной дверью с висящими узорчатыми балконами похож более на жилой дом с предполагаемым в нем уютом. Разве, быть может, колонны — от импозантности традиционного театра. Вступив в ярко освещенное фойе с зеркалами и небольшими подмостками с баясинами, где приютился неизвестно откуда взявшийся старинный буфет, ощущаешь необычность обстановки, уют и теплоту. Поднимаешься по скрипучей лестнице в маленький зрительный зал и тотчас видишь перед собою характерный для старого Тбилиси балкончик, вмонтированный в стену — с коврами, с гирляндой стручков красного перца...

Медленно гаснет свет, звучит увертюра и, быть может, только сейчас начинаешь ощущать, что попал в настоящий театр. Занавес поднимается и перед зрителем — обычный небольшой дворик родного города, где собралась непутевая молодежь, которая ведет на привычном нам городском жаргоне разговор о высоких материях. Так начинается первый спектакль театра марионеток «Альфред и Виолетта» по мотивам романа А. Дюма-сына «Дама с камелиями», перенесенный в наше с вами время интерпретацией Р. Габриадзе. К этой теме художественный руководитель театра марионеток обратился не сразу. После долгих поисков пьесы Реваз Габриадзе однажды сказал: «Мы поставим «Альфреда и Виолетту». Многие отнеслись к этому выбору с недоверием, не могли представить, как будет выглядеть этот сюжет в исполнении кукол. Однако никакие доводы не смогли переубедить автора идеи. И спектакль этот решил дальнейшую судьбу и репертуар театра марионеток. Опыт театра показал, что можно играть спектакли, написанные для драматических актеров «живого» театра. Хотя это не исключает из репертуара отдельные концертные номера и этюды. Вскоре зритель увидел второй спектакль — «Бриллиант маршала де Фантье» по пьесе Р. Габриадзе, имевшей успех не только в Тбилисском театре музыкальной комедии, но и в театрах других городов нашей страны. Параллельно идет работа над новым спектаклем и отдельными сценами для большого концерта.

Конечно, некоторые особенности в выборе репертуара в театре марионеток все-таки существуют. Они заложены в самом характере марионеток. Говоря о том, что в театре

марионеток можно ставить пьесы, написанные для «живых» актеров, следует отметить, что, создавая марионетку, мастер уже знает роль и назначение данной куклы и приспособливает ее механизм именно для этой роли. У марионетки, в отличие от драматического актера, нет возможности перевоплощения. Созданная для одной роли, пьесы, марионетка не может выполнить функции другого героя в другом спектакле. Но тем не менее она может вызвать у зрителя все те эмоции, которые вызывает актер в драматическом театре: смех, слезы, грусть и умиление.

Говоря о Тбилисском театре марионеток, хочется отметить важное обстоятельство: роли в этих спектаклях озвучивали известные грузинские актеры Э. Манджгаладзе, Р. Чхиквадзе и другие. Спектакли проходят под фонограмму. Относительно целесообразности такого подхода по сей день ведутся споры. Некоторые театры предпочитают вести спектакли под живую речь актера-кукловода (например, театр кукол под руководством С. Образцова), другие отдают предпочтение фонограмме. Тбилисский театр марионеток прибегнул к фонограмме. Это прежде всего обусловлено тем, что его актеры не являются профессионалами. Со временем, быть может, будет осуществлена и другая форма озвучивания, но на данном этапе все спектакли идут на записи. Успех спектаклей доказал, что выбор был сделан правильный. Невозможно представить Князя в спектакле «Бриллиант маршала де Фантье» без своеобразного, уникального голоса Э. Манджгаладзе, Хсчо — без звучного голоса Р. Чхиквадзе. Фонограмма помогает режиссеру привлечь в театр марионеток известных драматических актеров, мастерство которых несомненно будет способствовать повышению профессионального уровня театра.

Спектакль «Альфред и Виолетта» завоевал особую любовь зрителей. Первые реплики и движения марионеток в первой сцене спектакля даже настораживают, затем удивляют, начинаешь следить за движениями этих необычных созданий и постепенно, как-то незаметно для себя, «входишь», в спектакль и уже видишь перед собой живых людей, которые так же любят, переживают, дружат, как и мы. Когда смотришь этот спектакль, в тебе пробуждается та чистота, непосредственность и, наконец, сентиментальность, которые ты давно утратил в водовороте жизни.

Особый накал страстей в зале наступает во втором акте. Проплывающая в воздухе гондола, в которой сидят кар-



динал в ярко-красной мантии и Альфред, необычайно красочная декорация на фоне итальянской музыки создают ощущение праздника красоты. Даже неискушенный, скептически настроенный зритель аплодирует. И, наконец, сцена смерти Виолетты. Она была технически наиболее сложно выполнимой. В этой сцене особенно проявилось мастерство режиссера-постановщика, которому удалось провести ту грань между трогательно-сентиментальным и вульгарно-безвкусным, которая обеспечила успех этой сцены.

Говоря о театре марионеток, нельзя обойти молчанием коллектив театра, нельзя не отметить высокое мастерство художника-декоратора В. Бояхчяна, мастера кукол Э. Нишнианидзе, артистов-кукольников и великолепное музыкальное оформление Э. Исраелова. По ходу работы, от репетиции к репетиции крепло мастерство творческого коллектива, выявились просчеты и упущения. Сегодня и музыка, и декорации, и световое оформление составляют неотъемлемые части одного целого.

Спектакль «Альфред и Виолетта» стал гвоздем программы фестиваля Закавказских кукольных театров, который прошел в Ереване в 1982 году. На состоявшейся после просмотра спектакля «Альфред и Виолетта» творческой встрече вице-президент УНИМА Г. Юрковский сказал: «Спектакль произвел большое впечатление на всех, в том числе и на меня. Все компоненты — и форма, и содержание — великолепны. Профессионализм, зрелищная сторона, мысль и концепция режиссера тонко, изысканно обработаны и сделаны с большой любовью».

«Спектакль Р. Габриадзе настолько утончен, что чувствуется настоящая профессиональная культура.

Я знаю: если я завидую, значит, хорошо, значит, это настоящее искусство. Вчера в течение всего спектакля я завидовал».

Эти слова принадлежат народному артисту СССР, президенту УНИМА С. Образцову.

...В зале вспыхивает свет. Исчезают видения, и зритель возвращается в реальность из удивительного мира фантазии. И с невольной улыбкой и грустью покидает этот театр, театр волшебных грез.



## «ВАЖАОБА» — ПРАЗДНИК НАРОДНЫЙ

**ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЕ** горы обступают село Чаргали, куда на традиционный праздник «Важаоба» съехались гости из Тбилиси, ближайших сел, различных уголков Грузии, чтобы почтить память величайшего поэта Грузии Важа Пшавела.

Праздник поэзии открыл первый секретарь Душетского райкома партии Г. Кереселидзе. На празднике «Важаоба» также выступили писатель Л. Саникидзе, поэт Г. Гигаури, народный артист СССР Д. Алексидзе, народные сказители, которыми так богата Пшави. Звучат стихи Важа, стихи, посвященные ему, и, конечно, мужественные песни гостеприимных горцев.

Гости посетили Дом-музей поэта, по соседству с которым строится новый дом с экспозиционными залами. Здесь в будущем году будут выставлены документы, фотографии и книги, изданные на многих языках народов СССР и мира и отражающие жизнь и творчество великого поэта.

### ВСТРЕЧА С ПОЭТОМ

В ЗАЛЕ театра Абхазской государственной филармонии состоялся творческий вечер известного грузинского поэта Карло Каладзе, организованный по инициативе бюро по пропаганде литературы при Союзе писателей Абхазии.

Вечер вступительным словом открыл председатель Союза писателей Абхазии М. Ласуриа.

О творческом пути поэта, о его любви к Родине, своему народу на вечере говорили народный поэт Абхазии Б. Шинкуба, известный русский поэт Е. Евтушенко, лауреат Государственной премии СССР Г. Гулиа, поэты А. Салуквадзе, И. Тарба, А. Джонуа, К. Ломиа, Ш. Аюбия, Г. Каландия и другие.

Не стареет лира семидесятилетнего поэта, он по-прежнему бодр, полон энергии и творческого огня.

### ПРАЗДНИК ДРУЖБЫ И БРАТСТВА

СТАЛО уже доброй традицией ежегодно проводить Терьяновские дни поэзии в Грузии. И в этом году приехали на родину Ваана Терьяна, классика армянской поэзии, в село Гандзани Богдановского района Грузии грузинские и армянские писатели, чтобы принести дань любви и признательности поэту-трибуну, пламенному певцу братства и дружбы.

Митинг открыл первый секретарь Богдановского райкома партии В. Кочоян. На митинге также выступили секретарь правления Союза писателей Армении А. Григорян, председатель армянской секции Союза писателей Грузии Б. Сейранян, литературовед из Оренбурга, профессор Л. Боль-



шаков, поэты З. Медулашвили, Г. Шахназари, Г. Сирунян и другие.

В яркий праздник дружбы двух братских народов — грузинского и армянского — вылился праздник поэзии В. Терьяна в Грузии.

## ГОСТЬ ИЗ ИНДИИ

В ТБИЛИСИ побывал известный индийский поэт Ситакант Махапатра. Творчество поэта, который живет в штате Орисса и является ярким представителем орисской поэзии, широко известно. Книги поэта переведены на многие европейские языки.

С. Махапатра не только поэт, но и известный ученый и общественный деятель, лауреат премии Литературной академии Индии.

Цель приезда индийского поэта в Грузию — знаком-

ство с грузинским фольклором. Несколько стихотворений гостя из Индии будут опубликованы в грузинских журналах. В свою очередь С. Махапатра собираетсь перевести стихи грузинских поэтов и познакомиться с ними индийских читателей.

## ШЕКСПИР НА ОСЕТИНСКОМ

ЮГО-ОСЕТИНСКОЕ издательство «Ирыстон» выпустило в свет книгу сонетов великого английского драматурга В. Шекспира, которую перевел на родной язык известный осетинский поэт, прозаик и драматург Гафез.

Ранее на осетинский язык были переведены бессмертные трагедии великого драматурга в переводах Г. Плиева и Н. Джусойты.



---

На 1-й стр. обложки: репродукция с картины Давида Какабадзе «Цагвери».

---

Сдано в набор 6.VIII.84 г. Подписано к печати 4.IX.84 г. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Высокая печать. Печ. л. 7,0—усл. печ. л. 11,97. Уч.-изд. л. 14,0. УЭ 09032. Тираж 6.100 экз. Заказ 1343. Адрес редакции: 380008, Тбилиси, ул. Ленина, 5. Телефон 99-06-59.

Главный редактор Т. П. БУАЧИДЗЕ

Редакционная коллегия:

Ч. И. АМИРЭДЖИБИ, Э. Г. АНАНИАШВИЛИ, Р. Н. АСАЕВ, А. Н. БЕСТАВАШВИЛИ, Х. Л. ГАГУА, А. Н. ГОГУА, Э. В. ЕЛИГУЛАШВИЛИ, М. И. ЗЛАТКИН, Н. Г. КАРАШВИЛИ [ответственный секретарь], Г. Г. МАРГВЕЛАШВИЛИ, В. Г. МАЧАВАРИАНИ, Л. Ш. СТУРУА, Э. А. ФЕЙГИН, Г. В. ХАРАИДЗЕ [заместитель главного редактора], Г. Ш. ЦИЦИШВИЛИ.

**ТЕЛЕФОНЫ:**

Главный редактор — 92-65-15, заместитель главного редактора — 93 13-57, ответственный секретарь — 93-31-28, приемная — 99-06-59, отделы — 93-31-43 и 93-65-19.

---

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

---

При перепечатке ссылка на «Литературную Грузию» обязательна.

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ  
Тбилиси, ул. Ленина, 14.



65 к

ИНДЕКС 76117

04035340  
8032000033

63/129

СЕРИЯ 3. С. 129

ИЗДАНИЕ 1973

ВВЕДЕНИЕ  
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  
3. МЕТОДИКА РАБОТЫ  
4. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ  
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Содержание  
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  
3. МЕТОДИКА РАБОТЫ  
4. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ  
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Содержание  
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  
3. МЕТОДИКА РАБОТЫ  
4. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ  
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИЛИ ПРЕССА  
Москва, Ленинский пр. 15

